



Григорий
Ряжский

КОЛОНИЯ НЕСКУЧНОГО РЕЖИМА

«Проза Ряжского — это рассказ своими словами уже снятых — мысленно, но какая ж разница? — фильмов. Выстроенный кадр, свет, монтаж, драматургия в целом сюжете и в каждом эпизоде... Чистое кино».

Александр Кабаков

Азбука-бестселлер

Григорий Рязский

Колония нескучного режима

«Азбука-Аттикус»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Ряжский Г. В.

Колония нескучного режима / Г. В. Ряжский — «Азбука-Аттикус», 2016 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-12177-5

Все началось с того, что два неразлучных друга – Юлий Шварц и Гвидон Иконников, в будущем художники-академики, а до июня 1941 года юноши из интеллигентных семей, вернувшись с большой войны, на которую ушли добровольцами, селятся в калужской деревне, подальше от суеты московской. И постепенно «колония», как они в шутку прозвали свое новое место жительства, делается полюсом мира, откуда тянутся нити в послевоенную и современную Англию, за кулисы секретных служб, на холодные острова ГУЛАГа, в Москву, на Красную площадь во время чехословацких событий, – в прошлое, настоящее, будущее. Роман Григория Ряжского – остросюжетная семейная сага, где, как в магическом фонаре, сменяются времена и страны, жизнь противостоит смерти, а правда человеческих чувств ценнее всех сокровищ земных.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-12177-5

© Ряжский Г. В., 2016
© Азбука-Аттикус, 2016

Содержание

Книга первая. Пастух её величества	6
Часть 1	6
Часть 2	28
Часть 3	48
Часть 4	65
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Григорий Ряжский

Колония нескучного режима

© Г. Ряжский, 2016

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 ®

Издательство АЗБУКА

* * *

*За оказанную помощь в ходе работы над романом автор
выражает искреннюю признательность профессору Михаилу Евгеньеву,
генетику; Юрию Кобаладзе, ветерану разведки; Александру Цигалю,
скульптору, академику РАХ*

Книга первая. Пастух её величества

Часть 1

Если бы не обильно разросшиеся за последние годы три куста белого жасмина, посаженные в конце двадцатого столетия Кирой Богомаз вместе с сёстрами Прис Иконниковой-Харпер и Триш Харпер-Шварц, урождёнными Присциллой и Патрицией Харпер, то первый этаж дома покойного Юлия Ефимовича Шварца вполне мог быть различим, если смотреть на него из мастерской дома Иконниковых, из единственно го двусветного окна, что выходит на юг. То обстоятельство, что при явной нехватке рабочего пространства оконный проём никогда не перекрывался стеллажами, вполне соответствовало порядку, заведённому Гвидоном Матвеевичем Иконниковым относительно того, как, где и с какой целью должны располагаться плоды многолетних трудов академика-скульптора. Что касается второго этажа дома напротив, стоящего через глиняный овраг, то он уже не просматривался вовсе из-за непомерно разросшейся лесной ёлки, которую Гвидон Матвеевич помнил ещё пахучим саженцем, воткнув её в пятьдесят пятом вместе с Юликом в грунт перед ещё не до конца разобранный к тому времени Парашинной избой. Той самой бабкиной избой, в которой они поселились, объявившись в первый раз на этих глиняных землях. Само место посадки оказалось вполне удобным для небольшого палисадничка, как раз перед будущим домом. Корни саженца они присыпали привезённой из Хендехоховки землицей и обильно полили бурой жижей из глиняного оврага – для лучшего привыкания ёлки к условиям местного произрастания. Хендехоховка располагалась от их Жижи километрах в полтора, не дальше, но грунт там был уже иным, совсем не похожим на жижинскую глину, и тогда, помнится, оба они, прихватив мешки, лично сшитые Гвидоном из остатков подрамниковых холстов, притащили на своих молодых плечах правильную лесную земельку, не глину, а ровно то, что было нужно для ёлки и двух красавиц-сосенок. Так захотел Юлик, а Юлик был лучший друг. Самый лучший. Юлик был родной Гвидону человек. А Гвидон – Юлику. И потому их общий дом непременно должен был строиться именно здесь, не на «правильной», добротной и плодоносной земле Хендехоховки, а в этой незатейливой деревеньке со смешным названием Жижа, чтобы начать в нем совместную негородскую жизнь, на лучших среди всех территорий Советского Союза глиняных почвах.

Вообще-то, деревни с названием Хендехоховка как таковой не существовало никогда, деревня называлась Большие Корневищи. Такое странное немчурское название деревне насильственным образом присвоили жители Боровского района, где располагались и Большие Корневищи, и сама Жижа. В сорок первом, когда фашист уже, казалось, невооруженно стоял на подступах к этим землям, корневищенцы собрались на сход и разом, не выторговывая у самих себя и не скрывая накопившихся за двадцать лет чаяний, порешили, что немцу на этой земле – быть. И что не воевать будут корневищенцы и не партизанить против Ганса, а встречать его хлебом-солью. Против неуверенно высказался лишь председатель сельсовета, но именно он для сельчан и был самый страшный фашист, самый лютей враг. Председатель был избит тут же, на месте сельского собрания, где и скончался к финалу обсуждения; впоследствии так и не была выяснена истинная цель того смертоубийства: ненависть к власти в лице неуверенного в себе председателя или уважение к силе в лице надвигающегося фашиста.

– Не хочу я жить в этой Хендехоховке, – жёстко сказал тогда Юлик. – Не хочу и никогда не буду.

Гвидон спорить с другом не стал, тем более что и сам испытывал вполне осязаемое неудобство от одной мысли, что жить придётся в предательской деревне. К тому же понимал: оба теперь станут ближе к чуждым глинам, из-за которых, собственно, и занесло их незадолго

до войны сюда, в Калужскую область, году в тридцать девятом, в смешную эту деревню, сгоревшую под старинным Боровском. Тогда они, московские однокашники, заканчивающие десятый класс, наткнулись в Большой советской энциклопедии на слово «глина», после чего резко изменили летние планы, запасли продуктов и умотали сразу после экзаменов туда, где, как они выяснили, всё ещё числился в недохороненных народный промысел изделий из глины. Оба напросились на постой к первой встречной жижинской тётке по имени Параша, практически за так, за кулёк московской карамели «Гусиные лапки» и блестящую коробочку довоенного ландрина. И начали лепить. Глину месили руками и негодными лопатными черенками как умели. Станок гончарный в виде круга смастерили тоже кое-как, наспех – так хотелось обоим скорейшего воплощения образа из глины. В это лето им повезло – дождей почти не было, и потому почти ровно надвое рассекающий деревню овраг, откуда местные умелые мужики отбирали лучшую по качеству глину, был в течение двух месяцев пребывания друзей едва влажный, в отличие от прежних лет, когда лопаты вязли в глине и гончарам приходилось добывать ценный продукт, стоя по пояс в бурой жиже, что и послужило в давние времена поводом назвать поселение именно так – Жижя.

Первый горшок обжигали у той же Парашы, в русской печи, попутно с варкой кислых щей и картох для бабкиного поросёнка. Изделие получилось не очень. Вышло нечто дырявое, бесформенное, неустойчивое и очень твёрдое. Но это обнадёжило настолько, что уже через год оба подали документы в Московский художественный институт имени Сурикова: Гвидон – на факультет скульптуры, Юлик же, ни секунды не сомневаясь, выбрал живопись.

– Горшок отбрасывает тень, – сообщил он Гвидону, – а тень – не менее важный объект творчества, чем сам кусок глины.

Гвидон, усмехаясь, не соглашался:

– Тень не поставишь вертикально и не придашь ей объём. Я не хочу додумывать объект, я хочу создавать предмет руками, так, чтобы можно было его пощупать, похлопать по спине и поковырять пальцем...

Живописать тени всех цветов, форм и размеров, как и ваять плоды своих первых гипсовых опытов, каждому из друзей пришлось недолго – чуть меньше года. Конец июня сорок первого застал ребят в той же Жиже, летние поездки в которую, с девушками и без оных, обещали стать регулярными для обоих. Отдых совмещался с получением начального опыта в станковой живописи для студента-живописца Шварца и предметными теперь уже исследованиями твёрдого и мягкого материала для скульптора-первокурсника Иконникова.

Первой самостоятельной работой Гвидона стало скульптурное изображение обыкновенного конского копыта. Для начала пыливый Гвидонов глаз выхватил из полутьмы бабы-Парашиной избы ржавую подкову, прихваченную кривым гвоздём над дверной притолокой, на счастье. Гвидон сдёрнул её и осмотрел. Мысль примастерить к подкове недостающее звено в виде глиняного копыта так, чтобы получилось законченное скульптурное произведение, пришла сразу. Копыто Гвидон лепил основательно и неторопливо. Потом так же неспешно и терпеливо в несколько слоёв покрывал произведение эмалью. Затем, опасливо поддерживая нужный градус, запекал уже эмалевый вариант всё в той же печке у бабки Парашы. Получившийся результат приятно удивил не только самого автора, но и вечно критически настроенного друга. Юлик повертел остывшее копыто в руках, ковырнул пальцем гладкий бок копыта и саркастически произнёс:

– Осталось приделать к нему лошадь. А к лошади – седока. – Затем, усмехнувшись, добавил: – Но начнём с подковы. Где тут у нас гвоздики?

Кончилось всё, как и следовало тому быть, – первый же гвоздь, неумело вогнанный Юликом в колкую глину, разбил копыто на две неравные части. Трёхслойная эмаль, так осторожно, послойно запечённая Гвидоном, осыпалась вдоль линии раскола, оставив под собой неровный, острый край. Гвидон молчал, тупо уставившись на обломки копыта в Юликовых руках.

Затем резко повернулся и, не говоря ни слова, направился в избу. Пахло яблоневым цветом из сада и бабы-Парашиным поросёнком из амбара. Накануне прошли обильные дожди, и глиняный овраг почти до половины был заполнен слабо-коричневой жижей. Вокруг гудели мухи, жижу лениво рассекали две утки и штук двадцать пугливых утят. Юлик встал с корточек и по думал, что никогда он ещё так не любил Гвидона, как сейчас. Ещё подумал, что хорошо бы копыто склеить – так, чтобы не осталось и следа по линии разлома. Эмаль восстановить, немного запечь – и порядок! А вообще-то, он, конечно, сволочь, – эта мысль уже относилась к самому себе. Он снова улыбнулся, но теперь уже тому, что молод, что талантлив, что жижинский воздух принёс в его ноздри такой смешной, как само слово «жижа», аромат молодого кабанчика и будущих яблок и что жизнь у них с Гвидоном только начинается, но ясно, что никакие обиды и никакие копыта не смогут никогда их разлучить и что их жижинской глины хватит Гвидону на несколько жизней, если, конечно, он не передумает лепить из неё всякую смешную дрянь...

Именно в этот момент, пока Юлик Шварц додумывал окончательную версию совместного счастья, жижинская баба Параша и включила радиоточку.

«Граждане и гражданки Советского Союза...» – раздался голос Левитана, непостижимым образом зависая между амбаром и глиняным оврагом. Далее шло сообщение о том, что «сегодня, в пять часов утра, германские войска, без объявления войны, нарушив западные границы Советского Союза, вторглись на территорию приграничных областей, нанося бомбовые удары по городам...».

Юлик замер, где стоял, держа по полкопыта в каждой руке. Из избы вышел Гвидон. Высокий, худой, с редкими перьями природной седины, хаотически разбросанными по волосам. Внезапно Юлик увидел, как интенсивно бьётся жилка у правого виска друга, и подумал, что никогда прежде не подмечал у него такой интересной особенности. И ещё подумал, что всё это, конечно же, Гвидонов глупый розыгрыш в отместку за расколотое копыто, но как он смог так раскатисто-басисто подделать самого Левитана? Особенно когда финально пробасил: «... Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Гвидон резко подошёл, не глядя в глаза, вырвал обломки копыта из Юликовых рук, размахнулся и изо всех сил зашвырнул в глиняный овраг. Просвистев в воздухе, они упали где-то ближе к середине оврага и, пустив два мутных круга, ушли на самую вязкую глубину. Утки шарахнулись в сторону вместе с пугливым потомством и энергично погребли в сторону берега. Гвидон проводил уток взглядом, отряхнул руки и, глядя в затихающие на жиже круги, сказал:

– Хватит. Наигрались в игры. Воевать поеду. Ты со мной? – и ушёл в избу собирать вещи.

Юлик нагнулся и поднял с земли упавшую ржавую подкову. Покрутил её в руках и направился вслед за другом. Зайдя в избу, повесил её на старый гвоздь, откуда взял. И снова загудели притихшие на миг жижинские мухи. И вновь потянуло яблоневым цветом. И запахло молодым кабаном. И тогда Юлик отчётливо понял: это война!

Отец Присциллы Харпер, Джон Ли Харпер, происходил из рода Харперов и потому отличался идейностью. Дед Присциллы – соответственно, отец Джона Харпера – сэр Мэттью Ли Харпер истово и честно в течение долгих лет служил королевскому британскому двору в качестве персонального советника её величества королевы Елизаветы в области изящных искусств. При этом сэр Мэттью имел государственное содержание, одновременно успевая получать регулярное финансовое вспомоществование от двора его королевского величества в знак особого расположения к нему супруги царствующей особы. Таким образом, семья не то чтобы не нуждалась во все времена дедушкиной службы на престол, включая трудные для всей нации годы, но и позволяла себе тратить средства на обучение и идейное воспитание детей, что со временем стало неотъемлемо-отличительной чертой всех последующих Харперов. Усилия не пропали даром. Поначалу выпестованная отцом семейная идейность привела молодого Джона

Ли Харпера к армейской карьере, в ней он продвигался быстро, но недолго. Высшая гармония требовала высших проявлений ума, воли и тяги к совершенному. Иными словами, через самое короткое время сын обладателя Рыцарского креста очутился в службе внешней разведки Соединённого Королевства, откуда продолжил стремительный карьерный рост. В возрасте тридцати четырёх лет, то есть к моменту появления на свет в 1934 году горячо любимых дочек-близнецов Присциллы и Патриции, Джон успел завоевать в своих кругах репутацию крепчайшего профессионала в области окучивания носителей русской научно-технической и инженерной мысли. Не забывались при этом и жёны «носителей», с удовольствием принимавшие комплименты, приглашения на светские рауты и подношения от импозантного сотрудника Торгового представительства, специализировавшегося на заключении сделок по поставкам сельскохозяйственной техники. Не исключались и вынужденные пронзительно-скоротечные романы «сотрудника» с «нужными» жёнами с целью последующего шантажа мужей.

Взяли «представителя» в Краснодаре местные контрразведчики. Замели, в общем, случайно, на ерунде. На профилактике. Сами не ожидали подобного результата. Просто однажды одна из липовых «тайных» инструкций, направленных для ознакомления ведущим сотрудникам советского оборонного ведомства, всплыла в одной из британских разведок, где её зафиксировал глубоко законспирированный советский агент. Тот предположил три канала проникновения дезинформационного материала, один из которых явно базировался на контактах по линии торгового сотрудничества. Чекисты провели проверку внешних контактов агентов влияния и членов их семей, выявили среди прочих и те, что носили характер сомнительный, и без особого труда вышли на Харпера. Рыбина, однако, оказалась значительно более крупной и ценной, о чём чекисты не подозревали. Два месяца Джона Ли Харпера вели, но в итоге приняли решение брать, поскольку у того обнаружилось весьма уязвимое место – Элеонора. Контрразведчики прикинули и сообразили, что иметь такую значительную персону под своим крылом гораздо выгоднее, чем бегать вокруг него с микрофотоаппаратом и подслушкой.

Короче, взяли его более чем бесшумно, вместе с женой Норой, ведать не ведавшей об истинной профессии мужа. Дело было летом предвоенного сорокового года. В это время шестилетние близняшки Присцилла и Патриция, дочери Джона и Норы, проводили лето в имении Харперов в Брайтоне, на побережье, где их еженедельно навещал дедушка, сэр Мэттью, нередко привозя любимым внукам гостинцы от детей королевского двора.

От советской контрразведки поступило два предложения: вербовка и дальнейшее сотрудничество либо физическое устранение жены. Однако при принятии первого варианта Нора Харпер остаётся заложницей в чужой стране. Ей будет предоставлен уютный особняк на Черноморском побережье, обеспечено качественное бытовое и медицинское обслуживание, ей выделят автомобиль европейской марки с круглосуточным водителем. Также будет видаться с дочками, которых сможет привозить для отдыха в Сочинский район, в Хосту, её законный супруг Джон Ли Харпер, новый сотрудник советской разведки. Ну а соответствующая легенда о причине такого затяжного проживания Норы Харпер на черноморском берегу уже разработана и предельно детализирована, так что не вызовет сомнений у британской разведки. Это уже наша забота, заверили Харпера в органах.

Харпер согласился сразу, после первого же разговора. Надо сказать, беседа носила весьма доброжелательный и разумный характер, несмотря на всю чудовищность второго варианта. И этого Джон Ли Харпер, как профессионал высокого класса, не мог не отметить. Немаловажную роль в перевербовке Джона сыграл сам факт начавшейся Второй мировой войны.

– Да, мы принадлежим к разным социальным системам, – заверяли Харпера чекисты, – но перед лицом мировой опасности мы все должны сплотиться, чтобы противостоять единому врагу, и потому призываем вас, уважаемый мистер Харпер, как истинного патриота, принять верное решение, внося свой вклад в дело будущей победы над фашистской заразой.

– Но я бы мог быть не менее полезным в этой борьбе, оставаясь на своём месте и продолжая трудиться в британской разведке, – искренне удивился Джон подобной постановке вопроса.

– Вы и останетесь, – заверили чекисты англичанина, – просто трудиться теперь мы будем вместе, каждый на своём новом направлении. Поймите и нас, Джон, мы просто обязаны быть в курсе планов английского правительства в отношении Германии. И конечно же, мы и вы – ближайшие союзники в самом скором будущем, и ваш мудрый Черчилль, безусловно, свой выбор сделал давно. Просто мы несколько опережаем события во избежание лишних, неоправданных потерь. Что вас так смущает, Джон?.. И Норе... вашей жене... будет гораздо спокойней... И питание там отличное, всё самое свежее, и море под боком, не так ли? Вам ведь не наплевать на её здоровье, верно?

Странно, но именно после этой удивительной для разведчика беседы в стенах НКВД Джон Ли Харпер, идейный наследник своего идейного отца, самым тесным образом приближённого ко двору его величества, принял решение, о котором, как ни странно, не пожалел и в котором не раскаялся до самого конца жизни. Выпестованная рыцарским усердием крестного родителя идейность осталась при Джоне, однако просто поменяла знак на противоположный. Так агент британской разведки Джон Ли Харпер, сын сэра Мэттью Ли Харпера, без особых усилий раскрытый и завербованный чекистами российского Юга, в силу чьего-то повышенного служебного рвения или же просто по чьему-то недосмотру, в одночасье сделался сотрудником советских разведорганов. Таковым стал главный итог воспитания наследника придворным искусствоведом, знатоком искусств изящных и не очень...

Великую Отечественную Гвидон Иконников и Юлик Шварц заканчивали в разное время, но в чём-то их военная судьба получилась схожей. Оба дошли до Берлина: старший лейтенант-артиллерист Гвидон Иконников – в составе подразделения 157-го артиллерийского полка Первого Белорусского фронта и зам-командира сапёрной роты лейтенант Юлий Шварц – в составе сапёрного Гвардейского полка 14-й Краснознамённой дивизии Второго Украинского фронта. У обоих к маю сорок пятого слева позвякивали медальки, какие – жёлтого металла, какие – покрасней, с правой же стороны груди каждый успел навоевать по паре орденов. Гвидон, в отличие от друга, мог похвастаться ещё и нашивкой за ранение. Юлик же в этом смысле оставался чист и здоров, как ранний огурец. К концу войны, не прибавив в росте, изрядно сбавил в весе, щёки ощутимо сдулись, а улыбка и мальчишечья игривость стали по-настоящему хорошими и правильными, без свойственной им ранее чрезмерности.

Именно по этой причине, а ещё за бойкое знание немецкого языка лейтенант Шварц был откомандирован в распоряжение нового коменданта небольшого немецкого города Крамм, где он прослужил ещё полтора постпобедных года замом коменданта, а заодно переводчиком. При наступлении советских войск, в самом конце апреля сорок пятого, город подвергся чудовищной бомбардировке тяжёлыми советскими бомбардировщиками, после чего, в силу предпобедной лихорадки, командованием был отдан приказ о дополнительной артподготовке перед последним наступательным рывком Красной армии. Необходимости в этом уже не было никакой, город и так стоял в руинах, сопротивление отсутствовало напрочь, население попряталось, остатки немецких солдат разбежались по округе. Воевать было некому.

– Огонь! – кричал заряжающему сквозь грохот канонады старлей Иконников, выполняя дурной приказ. – Огонь, мать их в дышло!!! – И они давали этого огня столько, сколько было не нужно.

Так чистенький, ни в чём не виноватый старинный Крамм был окончательно стёрт с лица земли усилием Гвидонова батальона. На другой день армия безостановочно миновала руины, даже не зайдя в город. Всем хотелось немок, победы и подарков домой. Но был всё же перед очередным приказом о наступлении короткий перекур: на всё про всё – часа полтора. Именно в этот быстрый промежуток между увядающей войной и убитым миром старлей Иконников,

оседлав батальонный «виллис», совершил одночасовой марш-бросок в Крамм, исключительно с познавательной целью – осмотреть воочию дела рук своих. Увиденное зрелище ужаснуло. И не столько сам факт, что убитый город выглядел абсолютно мёртвым. Другое поразило: на месте центральной площади, в горделивом одиночестве, не тронутый войной, красовался на могучем постаменте бронзовый памятник – всадник на боевом коне, в рыцарских доспехах, с поднятым забралом шлема и с опущенным к земле мечом. Он словно с укоризной смотрел на Гвидона, неслышно вопрошая: «И чего ж ты наделал тут, брат Гвидон?» Иконников подрулil ближе, объезжая развалины, глянул на постамент, выкраивая взглядом из ошмётков грязи и битой штукатурки немецкие буквы. Памятник оказался каким-то Фридрихом, не то Великим, не то Двенадцатым, короче – основателем города Крамма. Это стало ясно с первых барельефных знаков, которые удалось рассмотреть. Гвидон задумчиво выпрыгнул из «виллиса», подошёл ближе. И только теперь он сумел заметить, что конь под Фридрихом опирался не на три ноги, а всего лишь на две. Третья, опорная, ровно по уровню копыта была срезана осколком снаряда. И осколок, скорей всего его, гвидоновский, и само копыто, необыкновенным образом напоминавшее смастерённое из жижинской глины, трижды покрытое эмалью Кирьяновской лакокрасочной фабрики и трижды запечённое в горячем зеве жижинской избы, лежали тут же, придавленные куском вырванной из стены кирпичной кладки. Четвёртая нога, приподнятая над землёй, оставалась, по замыслу скульптора, нависать над постаментом. Гвидон протянул руку и потащил край бронзового копыта на себя. Копыто поддалось и неожиданно легко выскободилось из-под кирпича. Теперь старлей держал его в руках, неспешно осматривая со всех сторон. Срез от осколка был совсем свежий и словно просился прилепиться обратно, к привычному месту. Гвидон подул на срез, срывая резким выдохом остатки руинной пыли, затем потёр срезом о рукав гимнастёрки и медленно стал прилаживать копыто к ноге, осторожно вдвигая бронзовый артефакт обратно в материнское ложе. К его удивлению, копыто встало на прежнее место легко и плотно, и лишь тонкий овражек по линии скола напоминал о недавнем отсечении части лошадиной конечности осколком боевого снаряда.

Иконников посмотрел на часы – его короткая командировка явно заканчивалась – и вновь бросил взгляд на Фридриха: как, мол, тебе, полегче? В этот момент ему почудилось, что Фридрих благодарно улыбнулся в ответ. Гвидон поднялся и стряхнул с себя пыль. Подошёл к «виллису», запрыгнул, завёл движок. Прощально рыкнул двойной перегазовкой, как бы проверяя себя и «виллис» на прочность. Врубил передачу и, не оборачиваясь, произнёс в никуда:

– Ты это... Фридрих... Давай, брат, прости нас... если сможешь. И... и... бывай, в общем...

Гвидон Иконников утопил акселератор в пол и, перемешав прозрачный воздух и синий армейский выхлоп с руинной краммской пылью, отправился в обратный путь, лавируя между островами разлухи по уже продавленной «виллисом» трассе.

После Гвидона первым из русских солдат бронзового Фридриха обнаружил лейтенант Шварц, когда в июне сорок пятого прибыл провести рекогносцировку места своей будущей службы. Обнаружил – в том смысле, что основатель стоял как вкопанный посреди краммских развалин, чудом не заваленный и не перемолотый в крошку Гвидоновыми снарядами из шестидюймовых дальнобойных орудий.

– Оп-па! – неподдельно удивился Юлик и кивнул Федьке на памятник. Пацанского возраста сержант Федька Сухотерин, водитель трофейного комендантского «опеля», присвистнул:

– И как же он устоял тут, чучело гороховое?

Осторожно повторяя путь, проложенный Гвидоном, они максимально близко подобрались к памятнику. Не вылезая из машины, Шварц сумел разобрать барельефную надпись на бронзе: «Фридриху Второму Освободителю от благодарных жителей города».

– Нет, ну неужели и правда ни царапины? – возмущённо озадачил себя вопросом Юлик, но всё же вышел из «опеля», чтобы убедиться в правоте своего предположения. Да, честно говоря, памятник был хорош собой и поэтому заслуживал детального осмотра, особенно сам он, грустный освободитель, смиренно опустивший меч к земле. Лейтенант уставился на скульптуру, медленно сканируя её взглядом от шлема и до постамента. Тут-то им и был замечен тонкий овражек среза, проходящий ровно над левым передним копытом боевого коня. Юлик подошёл ближе, всмотрелся. Затем протянул руку и попробовал его пошевелить. К удивлению лейтенанта, копыто поддалось довольно легко. Тогда он обхватил ладонью бронзовый копытный бок, сжал пальцы и резко потянул на себя. Копыто выскользнуло из-под лошадиной конечности, словно было смазано по срезу качественным немецким гуталином, и оказалось в руке у Шварца. Тот прикинул вес, покачав бронзу на ладони, и уважительно задрал глаза в небо.

– Кило на пять потянет, не меньше? Да, товарищ лейтенант? – спросил Сухотерин. – А то и на все семь.

Юлик согласно кивнул:

– Никак не меньше, – ещё раз взвесил находку на руке. – Короче, так, Фридрих, реквизирую! Гут? – обратился он к памятнику. – По закону военного времени. А то Гвидоша никогда не простит, должок у меня имеется, ясно тебе?

Фридрих безмолвствовал. Юлий Шварц подошёл к «опелю», открыл дверь и швырнул копыто под пассажирское место.

– А тебе другой прилепят, понял?

Федька уже заводил двигатель, рекогносцировка была завершена. Юлик решил попрощаться с памятником и подвёл утешительный итог визита:

– Отольют тебе новое копыто как положено и приварят. Так что стой пока и не заваливайся. А то придавишь кого, не дай бог...

«Опель» фыркнул, выпустил вонючее облако отработанного газа и тронулся с места. Проехав метров сорок, Федька внезапно дал по тормозам.

– Ты что? – удивился Шварц. – Забыл чего?

– Ага, забыл, товарищ лейтенант, – ответил Сухотерин и соорудил хитрую морду. – Щас вернусь. Вы только в машине сидите, ага?

Он обошёл «опель», открыл багажник и вытащил противотанковую гранату. Взвесил на руке, глянул на Фридриха, ухмыльнулся и выдернул чеку. Затем что есть сил размахнулся и запустил гранату в памятник. Сам же отскочил за «опель» и присел. Через несколько секунд раздался оглушительной силы взрыв. Юлик подскочил на своём сиденье и обернулся. Сквозь облако пыли он увидел, как медленно заваливается набок изуродованный взрывом Фридрих Освободитель вместе со своим бескопытным конём, как тяжело грохаются на площадный булыжник доблестный рыцарь и его освободительный меч, как переламывается пополам его крестоносное тело и куски отлетают в сторону от безголового коня, падая на обломки кирпичной кладки и битой черепицы...

Сухотерин вскочил на ноги и громко заржал, тыча пальцем в то, что осталось от бронзового памятника:

– Видали, товарищ лейтенант, как я его ловко? Теперь уж точно ни на кого не завалится, а то ишь выставился, как у себя дома! Теперь тут наш дом, русских, да, товарищ лейтенант? – Федька снова душевно хохотнул и захлопнул крышку багажника. – Ну что, едем?

Шварц молча смотрел, как садится обратно на руины сорванная с них взрывом пыль.

– Ты что же наделал, гадёныш? – тихо спросил он водителя, упревая в него глаза. – Под трибунал захотел?

Тот сжался:

– А чего, товарищ лейтенант? Вы ж сами сказали, чтоб не задавил кого. И ещё это... У меня ж граната осталась одна, неиспользованная, противотанковая, а я ни разу так и не попробо-

вал гранат-то этих. А против танков теперь нам для чего? Ну, я подумал, чтоб добру не пропадать... а тут этот как раз подвернулся. – Он испуганным кивком указал на заваленную скульптуру. – Фридрих ваш этот. Ну я его и того... положил наземь, в общем... Думал, одобрите... – Внезапно он выдавил испуганную улыбку. – Война ж... дело весёлое ведь, все так говорят. А?

– И гадёныш, и придурок заодно, – обречённо промолвил лейтенант и сплюнул в пыль. – Тебе б на кладбище работать, могильщиком, а тебя, идиота, людям жизнь налаживать оставили. – Он круто развернулся. – Ладно, заводись. Валим отсюда, пока не поздно...

Автомобиль снова фыркнул синим и покатил прочь от поверженного Освободителя к месту размещения будущей городской комендатуры, чтобы оттуда начать налаживать мирную жизнь недобитым Гвидоновыми снарядами краммовчанам.

За время работы Джона Харпера на советскую разведку близняшкам Присцилле и Патриции Харпер удалось навестить родителей трижды. Первый раз – в ноябре – декабре сорок третьего, когда Джон, присоединившись к посольскому дипкорпусу, присутствовал на Тегеранской конференции. Реализуя двойную задачу от двух хозяев, ему удалось вывезти девочек в Москву, а оттуда уже перебросить в Сочи, чтобы они повидали мать. Сам же улетел в Тегеран. Нора, ни разу к тому времени не покидавшая Советский Союз, про сто не могла не быть в курсе произошедших в их с Джоном жизни перемен. Она знала большую часть правды, прекрасно осознавая роль заложницы жизнью своей и мужа. А это значило, что и детей, если размотать всю эту дьявольскую цепочку, начиная от момента вежливого предложения сотрудников НКВД. Контроль за её жизнью вёлся круглосуточный, соглядатаи откровенно не маскировались, да и не было теперь уже особого смысла в этих играх: обе стороны досконально знали правила и неукоснительно придерживались их, стараясь не нарушать шаткого равновесия. Отсутствие супруги в Москве Джон объяснял ухудшающимся самочувствием Норы, которая нашла для себя лучший в мире климат – Черноморское побережье в районе примыкающей к Сочи и Кавказу курортной Хосты, славящейся чистейшим воздухом и бесподобными лечебными грязями. Как долго продержится эта легенда, Харпер доподлинно не знал, но чутьё разведчика подсказывало, что край уже виден, уже мерцает и не исключена ситуация, когда в недалёком будущем придётся переквалифицироваться в перебежчики. Не головой – кишками ощущал он слабые, но настойчивые сигналы изнутри.

Однако чем дальше заходило дело и чем больше Джон Ли Харпер приносил реальной пользы своим новым опекунам, тем чаще он ловил себя на мысли о том, что мир отчего-то меняется, мир приобретает новые устойчивые формы, мир не принадлежит больше Западу, мир постепенно перетягивается на Восток, медленно, но уверенно приоткрывая для себя новые, не запятнанные бесчеловечным капитализмом человеческие горизонты. И потом. Он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел уже. Ему отчего-то нравились эти странные русские: их душевная широта и непривычная стеснительность, глуповатая щедрость и наплевательская бесшабашность в быту, умение вникать в дело, когда того требует жизнь, и доводить себя в работе до иступления и полной самоотдачи. И их Сталин, наконец, – ведь и верно, кумир! Идол! Вождь вождей! Жестковат порой, но и время такое, мир на пороге следующей войны, это уже предельно ясно. Причём войны, где победителей не будет, а если и будут, то только не раздувшийся от самомнения бульдог Уинстон и не кентавр этот немощный, Рузвельт. Ну и водка, наконец! Настоящая русская водка!

В первый раз девочки пробыли недолго, дней восемь или около того. Улетали домой вместе с посольскими, также добиравшимися в Тегеран через Москву. Пока ждали отца обратно, Нора каждый день сходила с ума от счастья. Носилась с дочками с утра до вечера, возила на водопады под бдительным присмотром «русских слуг». Объездили всю округу, говорили, говорили, говорили не умолкая... Девочки рассказывали о дедушке Мэттью, как он хорошо их

воспитывает в отсутствие торгпредовской родительницы. Три года, считай, не виделись. Папа-то порой приезжает-уезжает, приветы-подарки доставляет от черноморской мамы.

– А когда обратно, мамочка? Когда домой, к бабушке?

– Не знаю, девочки мои, не знаю пока. Слишком серьёзная работа у папы, война идёт, а кто ему поможет, если не я? И лечение моё пока не завершено. Болезнь лёгких и суставов довольно серьёзная штука, требует особого климата. А тут, на Кавказе, все самые знаменитые русские писатели исцелялись. Здорово? И кстати, следующее лето – целиком здесь. Вместе, да? И папа постарается от дел своих чаще освободиться и прилетать к нам. Вам тут нравится?

Им нравилось: хотя и море в Брайтоне есть, и всё остальное, но нет такого ботанического сада, с фикусами разными, кипарисами, эвкалиптами, вечнозелёными пальмами какими-то и развесистыми магнолиями. Там же нашлось место и олеандру, и камфарному дереву, и японскому банану, и сказочному пробковому дубу. А последние розы, как оказалось, вообще отцвели только в декабре. А ещё обнаружили потрясающие каскады водопадов, срывающихся с высоких уступов гор, с тенистыми ущельями и таинственными пещерами.

А само море – другое, лучше, чем их залив, запах сильнее, водорослями пахнет по-особому. И камешки гладенькие такие, окатыши, галечка разноцветная, а не этот противный песок, который набивается в трусы и потом его оттуда не вытащить. И рыбёшки такие маленькие, бычки, ужасно вкусные, которых садовник Василий Николаевич, хоть и зима, наловил и зажарил на сковородке, с хрустящей корочкой, и все они ели бычков на холодных камнях пляжа, прямо с горячей сковородки. А у масла из семечек тоже совсем другой аромат, очень сильно и вкусно ударяет в нос, когда шипит на сковороде под ловкими руками маминого садовника.

За дни пребывания успели схватить и от русского языка – смешно так получалось: «Васили Николаевич – наш садовник. Алекс Владимирович – мамин водител, йес? Спокойнее ногти, тотиа Тания, райт?» А они: Василий Николаевич, он же капитан НКВД Зернов, Алексей Владимирович, он же старший лейтенант НКВД Харлампиев, и красавица-горничная Тания, она же младший лейтенант одноимённого ведомства Татьяна Гражданкина, – и правда искренне рады были визиту этих симпатичных девятилетних Харперов-близняшек – больно уж девчонки были забавные, разжатые донельзя, в отличие от наших-то, любопытные такие, всем интересуются, во всё носики суют, лопочут по-своему – не остановишь, даже младший лейтенант Гражданкина, уж как языку их адресирована, и то не сразу лопоту эту девчоночью схватывала, хотя и виду не показывала, что не всё сечёт. Правда, что сечёт всё остальное, тоже не показывала, само собой. Кроме одного – в силу особых инструкций младшему лейтенанту Гражданкиной предписано было оказывать в подходящих ситуациях «специальные женские» знаки внимания в отношении мистера Харпера, исходя из предположений о возможности ответного «мужского» интереса со стороны контролируемого объекта. Такое предписание базировалось на вероятности укрепления позиций НКВД с целью возможного шантажа объекта в качестве дополнительного средства влияния. Однако к подобному средству прибегнуть не получалось вплоть до самого последнего периода пребывания Харперов под крылом органов. Повышенная улыбчивость горничной Тани, весьма прозрачная демонстрация девичьих намерений и увлажнённый искоркой желания быстрый взгляд так и не были предметно зафиксированы объектом ни разу. Джон обожал жену, Нора, в свою очередь, любила Джона как ненормальная, пребывая в абсолютной уверенности, что мир целиком, с какой стороны ни взглянуть, нуждается в услугах её мужа благодаря его исключительным талантам суперразведчика.

Да и бригада НКВД к Норе, в общем, относилась по-человечески, можно сказать, даже за свою отчасти держали. Тем более что успехи в изучении русского языка превзошли даже её собственные ожидания. А главное, ей нравилось впитывать в себя понемногу, не спеша эти загадочные буквы и слова, чуть гортанные, чужие, но неожиданно становящиеся мягкими

и необыкновенно упругими. Потихоньку попыталась переводить. Пошло... Обложились книгами, учебниками и целыми днями, когда отсутствовал Джон, читала, читала, впитывала, правила ошибки, сравнивала тексты, однажды попыталась даже перевести из поэзии. Получилось немного смешно, но неплохо.

В дни, когда наезжал муж, «обслуга» мобилизовывалась, действия команды становились отточенно-выверенными, улыбки приобретали выражение заинтересованной, но заметно отстранённой вежливости. Это не касалось лишь Тани, а донесения в центр активизировались и дублировались многократно на дню.

Но необходимости в таком тотальном контроле за Харперами со временем становилось всё меньше и меньше, – это понимал и Джон, это понимали и его руководители с советской стороны. То, что удалось сделать Джону за эти годы, не подлежало взвешенной оценке. С помощью Харпера в центр британской разведки было запущено такое количество информации, ни разу не вызвавшей за всё время работы сомнений с «вражеской» стороны, что подозревать Харпера в двойной игре было уже просто бессмысленно. Это в первую очередь касалось как текущих военных планов русских, так и послевоенных задумок Сталина по переделке мира. Запускалась также «добытая с трудом» информация и об обстановке внутри политбюро, о существующих внутренних противоречиях и противоборствах ставленников и претендентов: «...запах украинского борща, – писалось в донесениях, – сменил шашлычный дух...»

Кроме того, с помощью Джона была выявлена настолько мощная английская разведывательная сеть, да ещё сотрудничавшая с американцами, что никакая двойная игра самого глубоко законспирированного агента не смогла бы компенсировать чудовищные потери западных разведок от развала многолетней налаженной схемы по борьбе с мировым коммунизмом.

И с «той» стороны дела в отношении Джона Харпера обстояли не хуже. Никому из руководителей британской разведки и причудиться не могло, что «торгово-представительская» работа одного из главных добытчиков важнейших «разведданных», опытного разведчика, безостановочно «вербующего» ценнейших агентов влияния в Советском Союзе, может быть прервана по какой-либо причине.

Затем был второй визит, и он уже пришёлся на лето: настоящее, южное, сочинское, с купаньем, загораньем и умираньем ото всех способов наслаждения черноморской жизнью.

Был и третий, заключительный период пребывания Норы и Джона Ли Харперов в хостинском доме НКВД, незадолго до Победы сорок пятого, когда в конце апреля Джон привёз девочек к морю, ещё не зная, какой трагедией эта поездка обернётся.

Пребывание семьи в Сочи продолжалось ещё с месяц, до того момента, когда всё оборвалось. Но в течение этого последнего месяца Прис и Триш, зажмурившись от удовольствия, вновь пребывали в божественной сказке по имени «Хоста на советском Кавказе». И снова были водопады, и вновь короткие забеги в прохладные по-весеннему, но зато такие прозрачные галечные бухты. И вкуснейшие «диадьи-Высины биточки с короточкой», и южные ночи, наполненные ароматами роз, акаций, клематисов и бело-розовых бугенвиллей, и невиданные растения в местном ботаническом саду, и ласковые руки горничной «Таньи», заворачивающие их, мокрых после душа, в мохнатые полотенца, и запах вкусного бензина, который «диадья» Алекс заливал в мамину машину из большой железной коробки, направляя струю в круглое, тоже большое и тоже железное горло... И весёлые песни пионеров, русских скаутов, несущиеся из радиоточки по утрам, и горячий чай с молоком перед закатом, что приносила «Таньetchка» в тяжёлых железных подстаканниках с барельефными русскими солдатами на гладких, начищенных до блеска боках, где они в больших мохнатых шапках скачут на лошадях с высоко поднятыми над головой шашками... И стрекот цикад, какие не водятся в дедушкином Брайтоне, и смешные белые панамки от горячего солнца, чтобы не пекло голову, и тесёмочки вокруг шеи, пропущенные через куриные божки, найденные среди обломков прибрежных улиточных домиков и галечных обмылков, и большущие рапановые раковины, которые, если прижать к

уху, шумят морским прибоем и гудят далёким парохомом... И мамочка, каждый вечер читающая перед сном по кусочку сказку русского сказочного писателя Алекса Пушкина про непостижимо далёкого и загадочного царя Гвидона, на малопонятном, но таком музыкальном и волнующем детском воображении русском языке...

История разоблачения «двойного» агента, «работающего» на британские разведорганы и состоящего на службе советской разведки, сама по себе явилась беспрецедентной по причине своей абсолютной нетипичности. По существу, двойным агентом Джон Ли Харпер не являлся никогда. Искренние личные мотивы, чувствительно подогретые мягкой и чрезвычайно профессиональной вербовкой, вскоре перевели его в окончательный разряд идейных борцов с глобальным империализмом, несущим угрозу миру на земле. Однако именно «двойным», то есть работающим и «на нас», и отчасти «на них» в силу специальных обстоятельств, – и никак иначе – теперь выгодно было представить Харпера руководству британской разведки, а уж руководству, в свою очередь, – кому повыше. В ином случае скандальный шпионский провал, означавший позорный проигрыш лучшей разведки в мире, приобрёл бы чудовищный резонанс и сверхнегативную реакцию в определённых кругах, включая американскую сторону.

Было также принято беспрецедентное решение – убрать агента, не вывозя его на территорию Великобритании. Причём убрать руками НКВД, разочаровавшею в завербованном английском агенте и предположившею измену Харпера новым хозяевам. Отчасти такая версия разрешения шпионской драмы устроила бы многих наверху.

Итак, в чём же на самом деле содержалась суть истории разоблачения Джона Ли? Всё было именно так, как придумал бы непрофессиональный сочинитель историй, желающий отметить на шпионской тематике.

Всё началось с плановой рядовой проверки экономическим управлением МИ-5 расходов разведцентров восточного направления. Начали с Москвы. Агента Харпера, официально – высокопоставленного сотрудника частной фирмы, приписанного к Торговому представительству, трогать не планировали: бюджет – практически открытый в пределах разумного, подотчётность как таковая отсутствует. Однако при неоднократных ссылах на содержание дачи с обслуживанием в Хосте для нужд супруги, Норы Харпер, проверкой не зафиксировано ни одного документа, подтверждающего оплату содержания места дополнительного постоянного проживания. Притом что выправленное по всей форме разрешение от советских уполномоченных органов имелось. Выходит, либо аренда южного особняка велась на бесплатной основе, что сомнительно, поскольку широко известна повышенная любовь Советов к английским фунтам стерлингов. Либо оплата осуществлялась из наличных средств арендатора и не проводилась по официальным каналам фирмы – поставщика сельскохозяйственного оборудования. Подобное обстоятельство было вполне объяснимо и могло и не вызвать дальнейших проверочных мероприятий. Собственно говоря, будь бухгалтер-экономист управления МИ-5 в тот день чуть более лояльным в буквоедском смысле слова, он бы мог и не обратить внимания на несущественную нестыковку в расходах ответственного сотрудника, под контролем которого заключались миллионные сделки, включая оплату золотом. Однако проблема состояла не в этом. Конкретно дело заключалось в том, что бухгалтерская жена никогда не посещала здравниц на побережье Чёрного моря. И никогда бухгалтерские дети не плескались в его волнах. И никогда сам он, старейший работник МИ-5, не отведывал и не мог по достоинству оценить вкус шипучего, игристого цимлянского, выстреливающего пробкой, по рассказам знатоков, на расстоянии до сорока пяти метров по горизонтали...

Это обстоятельство явилось поводом. Повод – причиной. Причина – слабой, но ниточкой. За неё и потянули. Потянув, размотали до голой катушки. Размотав – ахнули. Ахнув – напряглись и задёргались. Задёргавшись – решили убрать.

Разматывали недолго и несложно. Откомандировали под видом отдыхающего курортника завербованного русского агента. Особняк был взят под наблюдение. Были сделаны отчётливые фотографии длиннофокусной оптикой: Нора – в детской комнате читает вслух. На обложке – крупно: «Сказки Пушкина». За пару дней были отслежены контакты расслабившихся на черноморских хлебах «диады Васылья» и «диады Алекса». Также были приложены фотографии автомобиля, обслуживающего семью: марка, номер – тоже крупный план. Этого хватило с запасом, особенно когда выяснили по специальным каналам, что машина с этим номером приписана к гаражу сочинского НКВД. Окончательно кольцо замкнулось чуть позднее, в стенах посольства Великобритании в Москве, куда Джон и Нора Харпер, оставив Прис и Триш в Хосте, прибыли вдвоём десятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года по случаю торжественного приёма, который давал посол Великобритании Арчибальд Керр в связи с победоносным завершением Второй мировой войны.

Это был первый, начиная с последнего предвоенного года, выезд жены Джона Харпера из Сочи. Девочек пришлось оставить на попечении горничной Татьяны. Впрочем, дети такой вольнице были только рады – лишние пару-тройку дней можно будет бесконтрольно доплывать почти до самых буйков, не опасаясь маминого беспокойства. И «диада Алекс» теперь в их пол ном распоряжении окажется, обязательно лишний раз отвезёт на водопады. А «Тания» обещала испечь настоящие русские блины с яблоками, только они будут маленькие и толстые – «олимпиадушки»...

Центр в Москве, узнав о приёме, на который Джон просто не мог явиться без супруги, поразмыслил, но в итоге согласие на выезд Нору дал. Опасность такого решения носила двойственный характер. С одной стороны, многолетне выстроенная конфигурация отношений Центр – Харпер могла дать сбой в случае выхода Джона из игры, поскольку заложницы в этой конфигурации больше бы не значилось. Но с другой стороны, уход Джона означал бы и верную гибель для него самого как для предателя нации. А уж то, что именно так и произошло бы, в этом у Центра сомнений не было никаких. Предвидя подобный ход рассуждений чекистов, Джон первым предложил Центру вариант: в доме НКВД в Хосте остаются его дети, обе дочери. Конфигурация сохраняется?

Это устроило всех как нельзя лучше. Утром десятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года Джон и Нора Харпер улетели в Москву. Присцилла и Триш Харпер остались в приморском особняке под надзором сотрудников НКВД.

На этот раз МИ-5 действовала чрезвычайно осторожно. Учитывая особенность ситуации, начать решили не с Джона, а с его жены. Сперва необходимо было убедиться в том, что подозрения справедливы, в ином случае операция могла развернуться в обратном направлении и безвозвратно спалить самих подозревателей. Сомнения слабые, но всё же имелись. Да, действительно, семья Харпер в сочинской Хосте окружена чекистами со всех сторон, это достоверно установлено, но, с другой стороны, кому же, как не органам, предоставить чекистскую службу высокопоставленному английскому коммерсанту и его семье, тем более в таком удалённом от Москвы месте...

Нора должна подтвердить версию. И Нору нужно брать на испуг. Только после этого можно брать самого Харпера.

Решено было использовать самый верный метод – привлечь подругу. В самый разгар приёма к Норе подошла миссис Керр, жена посла, приобняла, взяла под руку и увела посекретничать в личные апартаменты.

– Боже, моя милая Нора, мы ведь не виделись с тобой целую вечность, ещё с Лондона. Как твоё драгоценное здоровье? Это правда, что тамошний морской воздух настолько целебен? Да ты просто расцвела там, я смотрю...

Эти слова были единственными, которые жена посла успела произнести. В апартаментах находились посторонние люди: трое гладко выбритых мужчин с холодным взглядом, в одинаково тёмных костюмах и бабочках. Они вежливо кивнули жене посла, и та, кивнув ответно, вышла, успев на прощание ободряюще поцеловать Нору в щёку.

Один из присутствующих, судя по возрасту, старший, слегка склонил голову в приветствии и кивнул на диван:

– Присаживайтесь, миссис Харпер.

Нора удивлённо присела на край дивана и подняла глаза на мужчину:

– Простите, я не вполне понимаю... С кем имею честь?

– Можете называть меня мистер Смит, – с той же холодной полуулыбкой представился старший, – или как вам будет удобно, это не имеет значения.

– А что имеет? – снова не поняла Нора.

Ответа она не получила. Старший сочувственно повёл головой и опустил в кресло напротив. Двое остались стоять, не спуская внимательных глаз с Норы. Внезапно Нора ощутила удавку вокруг шеи. Ей стало тяжело дышать, но она не показала вида. Старший откинулся на спинку кресла и закурил сигару, бросив невзначай:

– Вы позволите?

Нора слабо кивнула. Мужчина выпустил клуб дыма, улыбнулся и сказал:

– Вам, наверное, мешает сигарный дым? Страдаете заболеванием лёгких? У русских эта болезнь ещё называется «чахотка». – Последнее слово он произнёс по-русски. – Вы ведь, кажется, теперь неплохо владеете русским? Готовитесь к новой жизни? Или я ошибаюсь?.. – Он снова неглубоко затянулся и снова выпустил дым в направлении Норы. Снова улыбнулся. – Вот вы начали с того, что не понимаете... Я прав, кажется?

Нора удручённо молчала, не зная, как реагировать. То, что всё происходящее имеет место не случайно, она сообразила сразу. Одного не понимала: где Джон и почему разговаривают с ней, а не с ним...

– И я вот тоже не понимаю, отчего вы, серьёзно страдая заболеванием лёгких и суставов, ни разу не обратились к помощи медицины. Ни в Москве, ни в Лондоне, ни в сочинской Хосте. Разве НКВД не может предоставить вам врачей? За столько-то лет?

Нора побледнела. Шейная удавка вновь начала сжимать гортань. Она попыталась ответить, но ей удалось лишь выдавить из себя:

– Я... не знаю... Я ничего не знаю...

Старший резко поднялся и загасил сигару в бронзовой пепельнице. Резко подошёл к дивану, резко нагнулся над Норой и ухватился рукой за диванный подлокотник, глядя прямо в глаза женщине:

– Не знаете? Что вы не знаете? Не знаете, что ваш муж Джон Харпер в течение ряда лет успешно сотрудничает с советской разведкой? Не знаете, что он продан русским за паршивую дачу на паршивом морском берегу? В которой вы, жена предателя, внучка сэра Мэттью, обладателя Рыцарского креста от его величества, паршивые сказки русского Пушкина вслух читаете?! – Он распрямился и, не снижая пафоса, переспросил: – Читаете? Верно ведь? Читаете?

Нора вздрогнула, удавка чуть ослабла и дала дышать, потому что теперь она с полной очевидностью поняла: это конец.

В тот момент, когда они только вышли из автомобиля, она ещё ни о чём не подозревала. Во дворе посольства Джон, галантно подав ей руку, тихо, продолжая улыбаться окружающим, едва шевеля губами, быстро прошептал:

– Через пятнадцать минут незаметно выйдешь на улицу и дойдёшь пешком до Красной площади. У входа в храм Василия Блаженного тебя будут ждать. Подойдут сами. Дальше сделаешь, что скажут. Всё.

Не подозревала... равно как и не видела того, что заметил Джон, как только его автомобиль пересёк черту посольских ворот. То, как резко задёрнулась штора на втором этаже над главным входом. Как быстро кинул взгляд на его автомобиль незнакомый ему охранник и так же быстро отвёл глаза. Этого оказалось достаточно. Он понял всё, потому что давно был готов это понять. И сейчас спасать надо было не себя, а Нору. Харпер вежливым жестом освободился от руки супруги, игриво подтолкнув её вперёд, к зданию посольства. Сам же, словно увидав знакомое лицо в потоке прибывающих на приём гостей, отступил немного назад, затем с широкой улыбкой, гостеприимно протянув вперёд руки, пошёл к воротам... Миновав их, с распростёртыми объятиями двинулся к чёрному «мерседесу», ожидавшему очереди на заезд внутрь посольской территории. Улыбаясь, помахал рукой кому-то за лобовым стеклом. Прошёл ещё немного... И ещё...

Нора снова вздрогнула, словно очнувшись, кивнула в ответ и тихо произнесла:

– Да... читаю...

Старший не дал продолжить, тут же добавив к вопросу вопрос:

– Зная, что Джон Харпер изменил родине? Так? Зная – ну?! Отвечайте же, чёрт возьми! Зная?!!

Нора едва заметно кивнула, опустив голову на грудь, и закрыла глаза.

– Не слышу! – заревел старший. – Скажите отчётливо: знали или не знали?!!

Она снова едва заметно качнула головой, из глаз её уже неостановимо текли слёзы; скатываясь по лацкану блестящего жакета, они стекали на ковровый пол, в котором исчезали уже бесследно.

– Знала... – прошептала она. – Знала...

Этого было достаточно. Старший сделал жест глазами тем двоим в бабочках – оба тут же энергично покинули апартаменты жены посла. Однако было поздно. Нигде – ни в здании посольства, ни во дворе, ни в одном из припаркованных автомобилей – агент английской разведки найден не был. Сын крестоносца её королевского величества Джон Ли Харпер бесследно исчез.

В это время он уже находился на конспиративной квартире, расположенной в самом ближайшем соседстве от посольства Великобритании, – в доме грязно-серого цвета, что на набережной. В ожидании сотрудника Центра он думал лишь об одном – о том, что теперь будет с Норой, если она не успеет. За девочек он был спокоен: они оставались под присмотром «своих». Мысленно он прикидывал возможные варианты развития событий и медленно, заставляя себя сохранять холодный разум, отсортировывал один от другого. Однако ни в одну из его версий не входил самый страшный из вариантов, потому что к этому моменту Джон ещё не знал, что сорок минут назад он видел свою жену Нору Харпер последний раз в жизни...

Нору прождали до вечера, хотя и так было ясно, что раз она не пришла в назначенное время, то уже не придёт к храму никогда.

Трое ближайших суток Джон прожил в квартире, расположенной на седьмом этаже Дома на набережной, в ожидании любых событий. Ещё оставалась слабая надежда, что появятся какие-либо вести относительно Норы. Хотя из опыта он знал, что, скорее всего, в настоящий момент Нора находится под домашним арестом в здании посольства, и в случае, если события не приобретут неожиданный поворот, её депортируют в Лондон до принятия окончательного решения по Джону.

Центр также решил выждать, не предпринимая ничего, в надежде, что первые действия будут предприняты англичанами и тогда можно будет сориентироваться и реагировать точнее.

На четвёртый день безрезультатного ожидания Джона отправили в хостинский дом, и только из-за того, что там оставались дети.

Задача перед Центром теперь стояла не из простых, а именно – что делать с Джоном Ли Харпером в сложившихся обстоятельствах. Провал был очевиден, равно как стала очевид-

ной полная невозможность отныне использовать Харпера в прежнем качестве. А если ещё точнее, то уже просматривалась и бессмысленность опеки разведорганами НКВД ценного агента. Ладно, решили в органах, пусть поживёт пока с дочками, мы же подождём официальной реакции посольства на исчезновение английского подданного.

Ждать себя англичане не заставили. МИ-5 решила развернуть ситуацию следующим образом. В Восточном отделе рассуждали так: Харпер имеет статус иностранного гражданина, стало быть, ответственность за бесследное исчезновение на территории Советского Союза важной английской шишки, торгующей тракторами с Советами, целиком будет лежать на русских. Необнаружение высокопоставленного иностранца грозит международным скандалом и выносом сора из избы, на что русские вряд ли пойдут, тем более в эти первые послепобедные дни, когда всё ещё сильны союзнические настроения. Но с другой стороны, Харпера не отдадут ни при каких условиях, это совершенно ясно – слишком много знает. Тогда что на выходе? А на выходе – единственное решение, которое, скорее всего, устроит обе стороны. Русские наверняка заявят о задержании торгового представителя крупнейшей английской компании Джона Ли Харпера, представят доказательства его шпионской деятельности на территории Советского Союза и если не расстреляют, то отправят в дальние лагеря на весь остаток жизни. Гипотетически русских такое решение должно устроить более чем, поскольку им наверняка невыгодно оставлять без присмотра столь много знающего разведчика – к чему подобный риск? А МИ-5, в свою очередь, минимизирует позор и понесённые потери в результате измены ценнейшего кадра британской разведки. При подобном раскладе событий сам факт измены просто отменяется – куда как предпочтительней доложить наверх официальную версию ареста одного из лучших разведчиков, успевшего сделать для страны так много неоценимого...

Британские аналитики попали в точку. Именно с таких позиций рассматривали ситуацию в Центре, и именно такое решение как наиболее разумное было принято в отношении Джона Харпера. В хостинский дом ушла шифровка, информирующая командира бригады НКВД капитана Зернова об изменении ситуации с подопечным. Младшему лейтенанту Гражданкиной было предписано готовиться к откомандированию в ближайшие дни к новому месту службы, Зернову же и старлею Харлампию приказано оставаться при подопечном до момента его официального ареста. При этом было обращено внимание на неусыпный контроль за Харпером в связи с возможностью его побега. Хотя и понимали, что уйти с девочками тому будет практически невозможно. И всё же никто не хотел брать на себя риск в этой сложной ситуации.

При этом Центр рассматривал различные варианты поведения Джона, допуская среди прочего вариант его ухода из-под опеки НКВД, исходя из предположительных размышлений самого Харпера, которые целиком могли совпасть с решением Центра относительно его будущего.

Однако вышло всё не так, как планировала и разведка, и контрразведка. Получилось проще и гораздо страшней – так, как никто и предугадать не мог, хотя получившийся результат не изменил радикальным образом первоначально намеченных планов обеих сторон...

К девочкам Джон прибыл сам на себя не похожий, лицо чернее тучи, глаза воспалённые, под глазами мешки. Не давала успокоиться мысль о Норе. Остальное беспокоило меньше, к такому развитию событий мысленно он был готов все пять лет службы на русских. Не верил лишь тому, оставаясь в каком-то смысле идеалистом, что русские не позаботятся о нём и о его семье, когда пробьёт час икс. В итоге та самая идейность, заложенная отцовскими рыцарскими генами, сыграла в этой удивительной истории не последнюю роль и отчасти привела к крушению жизни и судьбы Джона Ли Харпера.

– Мама улетела домой, повидать своих и дедушку Мэттью, – объяснил он дочерям. – Просто были лишние места в самолёте, так что мы решили воспользоваться случаем. Скоро она вернётся, девочки. А вы пока отдыхайте, кто знает, когда мы в следующий раз сюда попадём... Война закончилась, скоро у нас у всех будут совсем другие заботы, да?

Объяснение отца близняшек вполне устроило, и они унеслись на пляж. В этот вечер впервые за последние годы Джон разрешил себе выпить. В своей спальне на втором этаже он налил до краёв стакан скотча и медленно выцедил содержимое до дна. Лег на спину и уставился в потолок. Через открытое окно спальни было слышно, как майские волны Чёрного моря накатывают на галечный берег, разбиваясь о волнорез в мелкую искристую пыль. Глядя в потолок, он не мог видеть, но точно знал: если повернёт голову влево, то обнаружит за прямоугольным, выкрашенным белым маслом окном чёрное небо, усыпанное изумрудными южными звёздами, среди которых он давно уже выбрал себе тайную тропинку, о которой никто не мог знать, даже Нора. И это было не какое-нибудь созвездие или привычное расположение маленьких планет. Это была его тайна, его личная тропа, которую он мог найти всегда, как бы ни было темно в небесах и как бы причудливо ни менялась эта звёздная россыпь. И он повернул-таки голову налево, но, к своему удивлению, на этот раз звёзд не обнаружил, небо заволокло беспрочно-чёрным, и это чёрное обрамлялось контрастным прямоугольником белого окна. Больше не было ничего: ни цвета, ни звуков, ни привычного такими знойными вечерами умиротворения и тихой радости. И тогда начинающему резко пьянеть Джону Харперу подумалось, что это всё же лучше, чем если бы чистый белый свет был просто окантован чёрной рамкой того же прямоугольника...

В дверь негромко постучали, и кто-то, не дожидаясь разрешения, тихо вошёл. Он понял это по тому, как клацнул замок в спальне при закрывании двери. Джон знал все звуки этого дома и мог легко определить источник каждого из них на обоих этажах. Так его учили, и это знание никогда не оставляло его, даже в критические моменты жизни. Сейчас он знал точно – опасности нет. Джон с трудом повернул голову направо. Это была Таня. В руках она держала бумажный пакет.

– Можно, Джон?

Он, не вставая, кивнул:

– Конечно, Таня.

Она прошла и присела на край кровати. Пакет опустила на ковёр перед собой. Джон пьяно окинул её вопросительным взглядом. Таня, чуть помедлив, снова взяла пакет в руки и решительно достала из него бутылку водки. Следом за бутылкой поставила на прикроватную тумбочку два тонких стеклянных фужера, добавила к ним нож и лимон.

– Я пришла проститься с вами, Джон, – сказала Таня. – Меня переводят от вас, на другую работу. А мы... – она слабо улыбнулась, – а мы даже ни разу с вами за все эти годы не выпили чего-нибудь крепче лимонада... И даже не познакомились, в общем, как положено... как бы... хотелось... Я вот и подумала...

Джон пьяно молчал, с трудом улавливая смысл услышанного. Таня решительно откупорила бутылку и наполнила каждый фужер до половины. Харпер молча следил за её манипуляциями. Он вдруг подумал, что эта девушка, оказывается, хороша собой, чего он прежде в упор не замечал. И что у неё приятный тихий голос и, наверное, красивые длинные волосы. Словно услышав его слова, Таня изящным движением руки выдернула заколку, и волосы, оказавшиеся на самом деле длинными и шелковистыми, упруго рассыпались по её плечам. Она тряхнула головой, желая уложить их ровнее, и Харпер успел заметить, как пара локонов шелковисто блеснула в свете вползающей в ночь хостинской луны. Такой же лунный отсвет, исходящий от женских волос, он порой улавливал, когда Нора укладывалась спать. И ещё он помнил, что всякий раз, когда ощущал этот короткий волшебный свет, ночь с Норой была длинной-предлинной, потому что именно в такие ночи они любили друг друга как умалишённые, и Нора стонала в его объятиях, не умея сдерживать страсть, а он сам, находясь на вершине счастья, всё же успевал отрывать ладонь от Нориной груди и прикладывать её ко рту любимой – чтобы лишние звуки не проникали через деревянные полы и перекрытия дома НКВД и не вызвали утом причин для неловкости ни у кого из жильцов чекистского особняка...

Она взяла фужер и протянула его Джону. Харпер, словно загипнотизированный, взял. Поднёс к губам. Таня улыбнулась:

– Лимончик порезать? Наш, сочинский, абхазских сортов.

Джон не ответил, он медленно сделал большой глоток, затем отвёл руку от себя, удивлённо посмотрел на остатки водки и резким движением опрокинул их в рот. Таня поднесла фужер ко рту и тоже медленно, мелкими глотками выпила содержимое до дна. Затем взяла фужер из руки Джона и вместе со своим поставила на тумбочку. Харпер ощутил, как сознание медленно выплывает из него наружу и неспешно устремляется к чёрному проёму окна, окаймлённому белым прямоугольником рамы... Он протянул вслед за ним руку, пытаясь удержать, не дать ему оставить его наедине с этой... с этим... с ними со всеми... Но сделать это ему не удалось. Через полупрозрачную муть, затянувшую глаза, он увидел – нет, скорее, почувствовал, – что его, Джона Харпера, оболочка уплывает вслед за остатками мыслей туда же, в чёрную бездну проёма, за которым уже нет ничего: ни россыпи южных звёзд с тайной тропинкой, протоптанной им по самому краю вселенной, ни чарующих запахов цветущей под окном магнолии, ни звуков далёкого прибоя, шумно бьющегося о пляжный волнорез, ни его любимой и единственной женщины... его Нору...

– Нора... – позвал он в темноту, – Нора моя... – и прикрыл глаза.

– Всё будет хорошо, Джон, – раздался вдруг любимый тихий голос. – Всё будет очень-очень хорошо... – отчётливо повторила Нора и припала губами к губам Джона...

И тогда он ясно ощутил любимые, так хорошо знакомые ладони на своей груди, ладони гладили его тело, медленно расстёгивая рубашку на груди, затем опускались ниже... ниже... раздевая Джона неспешно, как всегда, как в те шёлковые лунные ночи, когда они разыгрывали придуманную ими в медовый месяц таинственную любовную мистерию и когда потом, откинувшись, оба какое-то время лежали молча, переживая своё тесное счастье. И снова Джон, не израсходовав ещё любовный градус, поворачивался к Норе, клал ей руку на грудь, и начиналась их любимая игра путешествия по телу, когда он, начиная с уха и шеи, теперь уже неторопливо продвигался пальцами и губами вдоль тела любимой женщины, по упругому шёлку её загорелой кожи... И ещё... ещё... и ниже, ниже... пока не достигал её тонкой голени, о которую тёрся небритой щекой, что она особенно любила, и не обцеловывал каждый пальчик её божественно длинных ног – тонкий, прямой, с идеально ухоженным розоватым ноготком.

А потом путешествовала она. И Джон, тихо постанывая, прикрывал глаза, потому что, когда губы Нору нежно пощипывали завитки волос внизу его живота, Джона начинало слегка потряхивать, как при морской болезни, и тогда, зная такую особенность мужа, она немного замедляла своё путешествие, делая запланированную остановку перед тем, как продолжить путешествие вниз... чтобы добраться губами до смешного среднего пальца ноги, словно натянутый лук изогнутого в сторону большого пальца. Так было на левой ноге Джона, так было и на правой. Такие же смешные изогнутые средние пальчики достались и Прис с Тришкой. И девочки каждый раз, когда им удавалось затащить отца на пляж, заливаясь от смеха, в обязательном порядке пристраивали свои маленькие ножки на большие стопы Джона и, теряя равновесие, измеряли, у кого пальчики кривей. И всегда выходило, что у Джона. И тогда они победно прыгали вокруг отца, хватали его за руки и тащили к берегу, чтобы испытать, у кого на этот раз плоский камешек прыгнет на волнах больше раз. И Джон нарочно проигрывал обеим. А потом они все вместе с разбега запрыгивали в набегающую солёную волну, накрывавшую их с головой, и орали не своими голосами от страха, ужаса и счастья. А наблюдавшая за этим с берега Нора не раз ощущала странное чувство, что она дома и что сам дом, как и берег этого моря, как и цветущая под окном спальни магнолия, как и ночные звёзды, что, толпясь, излучают яркий свет, изумрудясь в чёрном проёме окна в крашенной белым раме, – всё это принадлежит ей, её счастливой семье, дочкам, Джону...

– Иди ко мне, девочка моя, – прошептал Джон и притянул женщину к себе...

И снова была между ними чумовая любовь, с полётом над вселенной, которая, вынырнув откуда-то из бездны, вновь загорелась звёздами в окне... Загорелась и заискрилась так ослепительно-ярко, что заставила его широко распахнуть глаза...

Джон Харпер проснулся. Рядом с ним, закинув руку ему на грудь, спала, тихо посапывая, горничная Таня. Джон посмотрел на часы, стрелки показывали начало пятого утра, но за окном было уже достаточно светло. Харпер постарался стряхнуть сон, помотав головой туда-сюда, и теперь уже совершенно конкретно уставился на спящую рядом с ним совершенно голую Татьяну, пытаясь восстановить в памяти вчерашний вечер. Таня открыла глаза, улыбнулась Джону и сладко потянулась.

– А-а-а-а... вы-ы-ы... – протянул Харпер, обращаясь к ней, не соображая ещё, как верней сформулировать вопрос.

Но Таня не дала ему завершить фразу; она откинула одеяло, открыв прекрасное тело, подхватила в руки ком одежды с пола, встала, сунула ноги в шлёпки и энергично направилась к выходу из спальни. На пороге обернулась, приложив палец к губам, и негромко сказала:

– Вы ещё поспите, Джон, а я пока пойду насчёт завтрака позабочусь, а то девочки скоро проснутся, ладно?

Не получив ответа от британского подданного, как была, выскользнула за дверь. Джон, чувствуя, что про валивается в пустоту, бессильно откинулся на подушку.

Его разбудили доносящиеся снизу голоса, и он сразу понял, что идут они из комнаты горничной Татьяны. Один, явно мужской, принадлежал садовнику Василию, его он узнал сразу. Другой, сдавленно-негромкий, принадлежал Татьяне. Потом раздался звук удара, затем – падения, и ещё что-то, кажется, покатилося. Снова раздался резкий голос садовника. Слов разобрать было нельзя, но интонация была явно чрезмерно агрессивной.

Джон встал, накинул халат и сунул ноги в тапки. Взгляд его упал на тумбочку, где рядом с нетронутым лимоном и недопитой бутылкой водки лежал небольшой столовый нож. Харпер, не отдавая себе отчёта, машинально подхватил его с тумбочки и сунул в широкий карман своего халата. Он спускался вниз по лестнице и теперь уже мог явственно различать слова. Василий явно старался зажать голос, но у него это плохо получалось. Тогда он переходил на шип, но Джон уже мог расслышать каждое слово, доносившееся из-за двери комнаты горничной.

– Нет, ты скажи мне, с-сука, скажи – не могла удержать себя, получается? Пять лет я тебя, дуру, драл, всё по-честному, подарки нёс, думал, может, выйдет чего у нас. Два дня дотерпеть не могла, шалава? Пошла всё ж таки давать британцу этому! Духа ми, что ль, какими у него там намазано? Или с нелюдем шариться слаще? У него чего, прибор там тоже по-иностранным сделан? Не как у меня?

Это был голос Василия. В ответ раздался Танин голос:

– Я тебе сто раз уже говорила, я на службе. Сам про это знаешь. У меня приказ.

– Да какой там ещё приказ херов?! – прошипел садовник. – Пять лет приказ не выполняла, а тут глянь – сподобилась! Осуществлять понеслась!! Под занавес!

Голос Тани, старающейся соблюдать спокойствие:

– Почему это под занавес? Просто жены его первый раз за всё время не было, сам знаешь прекрасно. А у меня инструкция. А ты тут ни при чём. Наши дела с тобой. Ясно тебе?

– Ясно! – зашипел в ответ капитан. – Мне с тобой, с-сукой, всё давным-давно ясно! Шлюха – шлюха и есть! Бикса! Лярова в погонах!

Затем раздался звук тупого удара и сразу вслед за этим – звук падающего тела. Джон решительно толкнул дверь в комнату горничной и вошёл внутрь.

– Я хочу знать, что здесь происходит, – спокойно сказал он, глядя на то, как всё ещё почти обнажённая Таня пытается после удара подняться на ноги, прикрывая тело принесённой из его спальни одеждой. Зернов с ненавистью окинул взглядом нежданного гостя и отреагировал с нескрываемым раздражением:

– А тут происходит то, чего вас не касается, мистер англичанин!

Харпер понял, что тот сильно пьян. Он пытался сохранять спокойствие, несмотря на крайнюю степень удивления от того, невольным свидетелем чего ему пришлось стать. Трудно было поверить, что всё это про исходит наяву после пяти благодатных лет в стенах этого чудного дома, ставшего им почти родным. Ему и Норе... Он вздрогнул: это значит, все годы их тут ненавидели? Ненавидели Нору? Все годы, проведённые в этом доме, эти люди жили двойной жизнью, демонстрируя лживые чувства по отношению к его жене? К его детям? И все эти жареные рыбки из моря были частью большой общей лжи? И почему «мистер англичанин»? Кто дал этому... право так разговаривать с ним, Джоном Харпером?

– Знаете что, – спокойно сказал Джон, глядя на садовника, – вы немедленно должны покинуть эту комнату и больше сюда не приходить. А я сообщу вашему боссу, что мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Вот так!

– Оп-па, – осклабился капитан, – они в нас не нуждаются! Да кому ты на хер нужен вообще, британец?! Приехал, понимаешь, на всё готовенькое! И нашим и вашим! Санаторий себе, понимаешь, устроил бесплатный! – Внезапно он вырвал из кармана пистолет и направил его на Джона. – А я вот щас пушу тебе пулю в лоб, чтоб знал, как русскими людьми командовать! И скажу, при попытке к бегству. Понял? А после ещё в хребет засажу, на всю шишку, чтоб надёжней завалить! Вот тогда узнаешь, кому покинуть, а кому оставаться! И кому – сейчас прям, а кому – вразвалку! Ясно тебе?

Внешне Джон оставался спокойным, этому его тоже учили. Так же спокойно произнёс:

– Сейчас вам надо спать, а потом уйти отсюда совсем. Иначе будут крупные последствия. Обещаю.

Зернов аж подпрыгнул на месте:

– Последствия?! – и пошёл на Харпера, пьяно глядя ему в глаза. Подойдя, придвинулся к Джону максимально близко и приставил ствол ко лбу. – Молись лучше своему нерусскому богу, падла!

Затем резко взвёл курок. Джон инстинктивно нащупал в кармане халата нож, тот самый, что был принесён Таней для нарезки несъеденного лимона. Он выдернул его из кармана одновременно со звуком выстрела, раздавшегося оттуда, где стояла Таня. Капитан Зернов удивлённо посмотрел на Джона и начал медленно заваливаться на пол, сползая по Джону. Таня, всё ещё не одетая, бледная как полотно, продолжала стоять с дымящимся пистолетом, который в этот критический момент, не выдержав напряжения, выдернула из-под подушки и произвела выстрел. Харпер перевёл взгляд на Таню, он хотел попросить её одеться, но не успел, потому что страшный удар сзади рукоятью пистолета в нижнюю часть черепа свалил его с ног, и он рухнул как подкошенный на неподвижно лежащее тело капитана Зернова.

Харлампиев, услышав выстрел, влетел в Танину комнату и тут же, не вдаваясь в детали, нанёс английскому разведчику удар по голове. После чего замер, тупо глядя поочерёдно на полуголого лейтенанта Татьяну Гражданкину и на два неподвижных тела на ковре. Под ними расплывалась и уходила в ковровый ворс лужа густой крови, причём было неясно, из чьего тела она вытекает. Рядом с телами валялся выпавший из руки Джона столовый нож, половина ручки которого была замарана капитанской кровью из лужи на ковре.

Наконец старлей Харлампиев очнулся, выйдя из анабиоза. Таня начала лихорадочно натаскивать на себя одежду. Алексей, следя за тем, как Таня одевается, неожиданно успокоившись, спросил:

– Это кто его – ты или он?

– Я его, – ответила горничная. – А он хотел его. – Она кивнула на лежащего Джона. – А ты его зачем?

Только теперь Харлампиев в ужасе присел на пол рядом с покойниками. До него постепенно стала доходить полная катастрофическая картина случившегося. Затем он резко поднялся и убрал пистолет в карман.

– Значит, так, – неожиданно жёстко выдавил он из себя. – Ваську мочканул иностранец, это нам понятно? – Таня слушала молча. – Потому что бабы его здесь нету, и он пришёл и стал тебя насиловать. А Василий услышал и прибежал защищать. И тогда этот Ваську... того... его же пистолетом и кончил. Вырвал и кончил. – С этими словами старлей взял из Таниной руки пистолет, тщательно обтёр покрывалом, затем зажал его в руке лежащего Джона и оставил в таком положении. Печально покачал головой, вздохнул:

– Тебя, что ль, делили – не поделили? – Таня не ответила. Харлампиев бросил на Гражданкину укоризненный взгляд. – Спасая ж тебя, дура-баба!

В этот момент Танин взгляд принял наконец осмысленное выражение. Она со злостью в глазах посмотрела на старлея и озлобленно выдала:

– А меня спасти не требуется, Харлампиев. И зря ты всё это затеял, с отпечатками. Никому это не надо.

– Как это? – не понял Алексей. – Почему не надо? Ты ж убийца будешь, Гражданкина! Своего ж сотрудника. В своём уме, лейтенант?

– Значит, слушай сюда, старший лейтенант, – продолжила Гражданкина, уставившись в пол. – Я выполняла приказ, он тебе известен. Капитану это не понравилось, и он решил убрать иностранца. Просто так – взял и решил. Ценнейший объект под охраной органов. Я ему это сделать не позволила, потому что под присягой. И потому что ещё он гад! И я отвечаю за то, что сделала. Мне скрывать нечего. А ты ответишь за этого. – Она кивнула на тело Джона. – Как сделал, так и ответишь. Всё! – Она оторвала глаза от пола и быстро посмотрела на Харлампиева, пытаясь предугадать его реакцию на сказанное.

Реакция была предсказуемой. Старлей разгорался недолго. Он снова, но теперь уже порывистым движением вырвал ствол из кармана, направил его на горничную и сделал три энергичных шага по направлению к ней. Задыхнувшись от гнева, выдавил из себя:

– Ах, как заговорила, сука! Правильно Васька тебе не доверял до конца, а драл – так, для близиру! Ну, я щас это дело за него докончу! Скажу, и Ваську сука эта Гражданкина положила, и этого самого, шалава чёртова! А отпечатки сделаю как надо. Уж с этим-то как-никак разберусь.

Четвёртый шаг старший лейтенант НКВД Алексей Харлампиев сделать не успел, потому что внезапно ощутил неудобство в животе, в том месте, куда по самую ручку воткнулся лимонный нож: Татьяна с размаху всадила его вниз старлейского живота. Чекист захрипел и рухнул на колени, выпустив пистолет из руки. Постояв мгновение, он выплюнул шмат крови изо рта... Вслед за шматом из левого угла рта потекла обильная красная струйка. Зрачки его медленно закатились, перетаскив вверх выпученные глазные белки, и тело медленно стало заваливаться на бок. Оно опустилось на ковёр комнаты горничной и замерло. Таня тоже без сил присела на пол. Окровавленный нож, который она машинально выдернула из старлейского живота, продолжал оставаться в её руке. За всем этим, в ужасе распахнув глаза, стоя в одинаковых ночных рубашках, наблюдали две девочки, Патриция и Присцилла Харпер. Триш и Прис. В этот момент лежащий без движения на полу их отец Джон Харпер шевельнулся и слабо застонал...

Процесс над Харпером, в отличие от быстрого и закрытого военного суда над младшим лейтенантом Гражданкиной, был громким и открытым. Такое решение после долгих размышлений было принято во властных кабинетах. Дело от органов курировал недавний комиссар Госбезопасности, а к моменту суда заместитель начальника Второго управления НКГБ Глеб Иванович Чапайкин. Он же и решил, что именно подобным образом будет достигнут тройной эффект. И он же предложил сделать суд громким и открытым. Это крепкая и чрезвычайно

выигрышная позиция. И жертв практически нет. На стороне советской спецслужбы Харпер больше не игрок. Но при этом! Во-первых, утрём нос британской разведке. Во-вторых, поставим на вид союзникам за их шпионскую деятельность под прикрытием торговых представительств. Ну и в-третьих, как и планировали, получаем официальную возможность изолировать Джона Харпера, продолжающего оставаться потенциальным носителем секретов государственной важности.

В ходе процесса подсудимому инкриминировалось двойное преступление: убийство сотрудника советских правоохранительных органов, совершённое подсудимым при его задержании, и его же шпионская деятельность на территории Советского Союза. Убийство же повесили мимоходом, заодно, с тем чтобы было юридическое основание увеличить лагерный срок, коль скоро дело приобрело такую широкую огласку. Да и процесс по делу младшего лейтенанта Татьяны Гражданкиной в этом случае может быть переквалифицирован на более мягкую статью – убийство гражданина по неосторожности в ходе ареста подозреваемого. И это – до восьми лет лишения свободы.

В итоге решением суда за совершённые на территории Союза Советских Социалистических Республик преступления граждан Великобритании Джон Ли Харпер был приговорён к высшей мере – смертной казни через расстрел. Однако, проявляя добрую волю и принимая во внимание наличие у подсудимого двух несовершеннолетних детей, Верховный суд СССР счёл возможным заменить смертную казнь на двадцатипятилетнее заключение с пребыванием подсудимого в колонии строгого режима.

Таковым изначально было условие, предложенное Джону Глебом Чапайкиным в ходе следствия, в случае если он целиком и полностью признает свою вину. Что Джон Харпер, понимая бессмысленность борьбы за любое иное решение, и сделал. Впрочем, добиться желаемого от подсудимого было теперь несложно. Травма от нанесённого Харлампиевым страшного удара по затылку дала последствия в виде регулярных приступов амнезии, чередующихся с сильными, порой нестерпимо, головными болями. Очередной приступ боли застал Джона во время зачитывания приговора и произнесения последнего слова. Джон просто тупо мотнул головой, выразив заведомое согласие, плохо понимая, что происходит, и не вдаваясь в смысл произносимых слов. Ему уже давно было всё более чем безразлично. Безразлично, в отличие от него, было Глебу Ивановичу Чапайкину, которого сразу после вынесения приговора двинули на дальнейшую борьбу со шпионами в качестве заместителя начальника Второго Главного управления контрразведки МГБ. Там он прошёл славный путь вплоть до марта пятьдесят третьего, откуда и был направлен по линии бериевского ведомства в Четвёртое управление МВД. А позже стал заместителем начальника УКГБ по Москве и Московской области, дослужившись до звания генерал-лейтенанта. Нора и девочки, которым не разрешили остаться в Москве на период следствия и суда, узнали о приговоре, уже находясь в Лондоне. Дети плакали в голос, Нора же просто слегла и не вставала неделю, понимая, что никогда в этой жизни мужа своего она больше не увидит. Да и живым он оттуда теперь уже не выйдет, это ясно. Был ли Джон убийцей на самом деле или нет, ей, как и сэру Мэттью, никто из бывшего руководства мужа объяснить не удосужился. Одно ей было ясно: Джон был вовлечён как чекистами, так и британской разведкой в чудовищно подлую и лживую игру, где нет и не могло быть места ни принципам, ни достоинству, ни приличиям...

Выдержка из рапорта начальника женской колонии за № ИТК/371 г. Малоярославца Калужской области в Главное управление лагерей

...Довожу до вашего сведения, что 15 февраля 1946 года в ходе принятия родов скончалась з/к 1134 Гражданкина Татьяна Ивановна, 1915 г. р., незамужняя. Родственники у покойной отсутствуют. Роды проходили в лагерной медсанчасти, принимал фельдшер Веселова М.

А., по медицинским показаниям вынужденная произвести рассечение матки. В результате оперативного вмешательства з/к 1134 Гражданкина скончалась от кровопотери на операционном столе, не приходя в сознание.

Родившемуся ребёнку женского пола, согласно предварительной воле покойной, присвоено имя Наталья. Отец ребёнка не установлен. Отчество присвоено в соответствии с отчеством з/к 1134.

Гр. Гражданкина Наталья Ивановна, род. 15 февраля с. г., направлена в детский приют № 13 г. Малоярославца Калужской обл. при сопутствующих документах.

Начальник ИТК/371 подполковник ВВ Сапрыкина Н. Н.

Часть 2

К первой персональной выставке работ, состоявшейся в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, тридцатилетний скульптор Гвидон Иконников готовился самым основательным образом. Фигуру спортсмена, на днях отлитую в бронзе, в выставочный зал удалось доставить лишь утром накануне открытия. Днём они с Юликом развешивали огромные фотографии крупных работ последних лет: фонтан в Курске, барельеф в холле музыкального театра в Брянске, стела при подъезде к комплексу «Бородино». К вечеру планировалась доставка остальных тридцати четырёх работ, малого и среднего размера: бронзовое литьё, камень, резьба по дереву и керамика. Однако какой-то идиот из местного ЖЭКа поменял замочную личинку в дверном замке, и им не удалось ни отпереть замок, ни выломать саму дверь.

А недели за три до этого работы пришлось вывезти из мастерской, поскольку на этот раз МОСХ окончательно отказал Иконникову в пролонгации аренды помещения под мастерскую; кому-то, видно, эти метры на Верхней Масловке пришлись по душе, и, конечно же, как удалось выяснить Гвидону, без взятки не обошлось. Нести в Объединение мзду за мастерскую Иконников не собирался и, разумеется, снова остался на бобах. Идти трясти орденами было противно и неловко, хотя старую армейскую гимнастёрку без погон, работая с глиной, пластилином и гипсом, предпочитал всем остальным спецовкам и рубашкам. Короче, две недели, после того как пришлось съехать с Масловки, выставочные работы хранились у приятеля в гараже, на краю Москвы. Затем приятельская теща упростила того поставить на зиму чью-то машину, и пришлось перебрасывать их снова, на этот раз в комнату при Юликовом домоуправлении, где Шварц вёл кружок рисования для детей. Именно там и возник неизвестно кем обновлённый замок. С самого утра искали чёртова ключника. Не нашли. Затем пробежали час в поисках слесаря. Нашли. После пришлось посылать за бутылкой, без которой переговоры заходили в тупик. В итоге, слава богу, открыли. И теперь им предстояло расставить работы за оставшиеся полдня.

И вот когда они наконец разгрузились у выставочного зала ЦДРИ и стояли у грузового лифта в очереди за тележкой, Гвидон вытер рукавом пот со лба, выматерился и выдал:

– Всё, Юль, хватит! Строиться надо. В Жиге. Ты со мной?

Юлик как будто совсем не удивился такому варианту и деловито переспросил:

– Общий или два?

Имелось в виду количество домов, хотя этот вопрос, в общем, не требовал уточнений.

– Ну, ясно, общий, – недоумённо пожал плечами Иконников, – чего зря тратиться? Две мастерские, две спальни и салон. Нормально?

– Корову заведём? – самым серьёзным образом поинтересовался Шварц. – У меня после водки молоко сразу на втором месте.

– Козу возьмём, – так же нешуточно отреагировал Гвидон. – А козла будем приглашать два раза в год, для приплода.

На том и порешили. За все послевоенные годы в Жиге обоим удавалось наезжать почти ежегодно. В основном это были промежутки между учёбой – в студенческие годы – и после сдачи заказов, когда оба уже начали работать самостоятельно и пошли первые деньги. Что до бабы Парашки, то и она стала им почти родной. Старались каждый раз не упустить последний летний месяц. В августе, во-первых, и яблоки из дикого сада, и лучшая, как говорили местные мужики, глина в овраге, нежная на ощупь, вязкая, жирная и самая невоночая. Она и тянется хорошо, и полируется славно. А блеснит, считай, сразу после обжига. Но только брать лучше ту, что пониже, первых пару черенков надо сбросить, тогда возьмёшь правильную, живую, липкую. Ту можно не проверять, а любую другую, и что выше залежем, и какая совсем не наша, не жижинская, – на ту восемь кирпичей цепляешь в столб с одного замеса, сушишь досуха и на

вес приподнимаешь, над земью. Не развалится столб – бери такую глину, меси, не подведёт. А пожелаешь совсем подходящую, так трубу из неё слепи и гни её малым кругом. Коли ни единой трещинки после сгиба не сыщется, а сама колбасина цельной останется, такая и будет самая она, что в дело годится: и строить, и лечить, и если чего постирать заместо мыла. Но только нашей всё одно лучше нету, жижинской. У неё запах не глины, а земли. С неё Бог человека-то и лепил и душу опосля вдунул, так что она и есть дар Божий, и никак не по-другому...

Сам Юлик тоже маялся немало из-за нехватки рабочего пространства. И так же, как и лучший друг, ненавидел принимать участие в подковёрных московских дрязгах из-за дележа арендных площадей. Дали, конечно, в пятьдесят втором кой-какой полуподвал, во дворе на Октябрьской, но и там повернуться было негде, метр на два работу уже как надо не рассмотришь, разве что с улицы, через открытое окно полуподвала. Честно говоря, можно было частично увеличить рабочую площадь, но для этого пришлось бы сломать раздвижную стенку, разделяющую её на два не больших помещения, для работы и ночёвки, после чего выкинуть вечно разваленную надвое тахту и шкаф для белья. Однако на это художник Юлий Шварц пойти не мог ни при каких условиях. Слишком значимую часть жизни пришлось бы отменить, упразднив место приёма бесчётных амурных симпатий, резвых флиртов, быстротечных физкультурных романов и стремительных одноразовых любовей с блёкло выраженным послевкусием. И потом, ну где ещё расположить натуру, не на потолке же? Натуры послушно лежали в ожидании конца сеанса, затем, как правило, оставались служить художнику до утра, чаще всего в том же положении лёжа. Короче говоря, холсты, подрамники, стеллажи, кисти, отмокающие в вечно опрокидывающихся на пол банках с водой, непристроенные готовые работы и прочее – всё это было явно лишним в условиях неказистого полуподвального помещения. Было б оптимально, не раз фантазировал Юлик, когда они выпивали с Гвидоном, сломать всё же перегородку, провести горячую воду, вывезти всё это лишнее «фуфло» и разместить тут огромную спальню с необъятного размера лежанкой посередине. Не трогать лишь кухню, она и так крошечная. И никогда больше не видеть всей этой надоевшей грязи.

Пока готовили экспозицию, Гвидон нервничал и постоянно орал на подсобника, выделенного выставкой. Тот едва ворочал языком после принятого с утра полстакана, но, желая проявить усердие в расчёте на вторые полстакана, старался передвигаться по возможности бодро и преимущественно по прямой. Это явно получалось у него неважно.

Так или иначе, открытие состоялось в назначенное время. Народ приходил и уходил, все были свои, радовались в основном искренне, выпивать по очереди отходили в комнату, оборудованную под раздевалку. Там уже всем наливал Юлик, успевая кадрить почти всех особ женского пола, кто без мужика. С одной тонконогой, стилижного вида, с глуповатым лицом и оттопыренной попкой практически договорился уже на завтра – встречаемся на Октябрьской, просто обещаю, что выйдет роскошный портрет. Такие данные... Лицо эпохи Возрождения, неужели никто не говорил? Эти лица так любил Веласкес. Обожал, писал и боготворил натурщиц. У меня там ужасно мило, вид на старую Москву, правда, с нижнего ракурса.

Оттопырка слушала, улыбалась и верила, а Юлик, пока записывал ей номер телефона, уже мысленно прикидывал, с чего начнёт, с какой детали подвернувшегося кстати тела. Решил, что начнёт непосредственно с той стороны оттопыркиного организма, откуда подойдёт.

Но планы поломал лучший друг. Когда Юлик освободился от разливной обязанности и вышел в зал, там было уже почти пусто. Последние нетрезвые визитёры бродили среди работ, по обыкновению выискивая и обсуждая недостатки. Гвидон стоял в стороне и о чём-то оживлённо беседовал с миловидной невысокой русоволосой девушкой лет двадцати. Юлик сделал стойку, одновременно отметив для себя, что кое-что в ней не так.

«Слишком хорошая улыбка, – подумалось ему, – наши так не улыбаются. И одета слишком правильно. Наши так не ходят».

На девушке была длинная твидовая юбка, тонкий свитер с откинутым горлом, кожаные ботинки, почти мужского вида, только и сами поизящней, и кожа явно мягче. Под мышкой была зажата тоже кожаная сумка, на молнии. На груди – расчехлённый фотоаппарат явно несоветской марки. Юлик подошёл. Гвидон обернулся и кивнул:

– Вот, просит разрешения сфотографировать. Дадим?

Девушка улыбнулась и протянула навстречу руку для пожатия:

– Здравствуйте, я Присцилла. Прис.

Юлик чуть-чуть растерялся, что было ему совсем несвойственно. Девушка говорила с лёгким акцентом, сразу стало понятно, что она иностранка. Он легонько сжал её ладонь. Она была маленькой и прохладной.

– Юлий Шварц. Художник. Друг своего друга. – Он кивнул на Иконникова и встречно улыбнулся. – Нравятся работы Гвидона?

Гвидон вскинулся:

– Стоп, стоп! Я же сам не представился ещё! Гвидон Иконников, скульптор.

– Это я уже поняла, – сказала Присцилла, – прочитала на плакате. Честно говоря, поэтому и зашла на вашу выставку. Хотела посмотреть, как выглядят потомки русских царей.

Гвидон с восторгом присвистнул:

– Неужто Пушкина читали?

– «Неужто» – это «неужели»? – заинтересованно переспросила девушка. – Я должна это записать, а то будет... – На секунду она наморщила лоб и закончила: – Будет пробел. Так правильно?

– Правильно. А между прочим, я единственный Гвидон в этом городе, абсолютно точно знаю. Папа-пушкинист просветил, – гордо сообщил скульптор, после чего оба рассмеялись. – Правда, пока ещё не царь.

– Ну, вы молодой и талантливый, – успокоила его Присцилла, – ещё станете.

– И красивый, – игриво добавил Юлик, – я говорю, мой друг Гвидон красивый мужчина, правда?

– Правда, – просто ответила Присцилла, – мне тоже кажется, что красивый, – и снова потрясающе улыбнулась.

– Ну, тогда и я красивый, – снова ввернул слово Шварц. – Все мы тут умники и красавцы. А что вы делаете в Москве?

– Я стажирюсь в вашем университете, на кафедре лингвистики. А дома, в Англии, учусь. Студентка. Третий курс Кембриджа. Славистика, русский язык. Преподаватель и переводчик.

– А знаете что? – внезапно спросил Гвидон. – Мы с Юликом завтра едем в одно ужасно занятное место. Это не так далеко от Москвы. Хотите посмотреть, что такое настоящая русская деревня? Мы там лепим из глины. Можем горшок подарить. Настоящий, глиняный, прямо при вас и вылепим.

– Горшок? – улыбнулась Присцилла. – Это такое... круглое, как ваза?

– В общем, так, – по-деловому распорядился Шварц, – завтра мы заезжаем за вами часов в десять утра. Давайте адрес.

– Общежитие МГУ. Но... нам, кажется, нельзя покидать границы Москвы без специального разрешения власти, – замялась девушка.

Юлик задумчиво пожевал губами и медленно выговорил:

– Знаешь, Присцилла, чего я тебе скажу? Плевать! И всё! Видишь, как просто?

Англичанка думала не долго.

– Плевать! – весело согласилась она и залилась смехом. – И правда, просто!

В этот момент Гвидона трясло, а Юлика слегка потряхивало...

Когда ровно через год, тоже летом, Присцилла Харпер вновь прилетела в Москву, то остановилась уже не на Стромынке, в университетском общежитии, а в московской квартире своего близкого прошлого друга в доме в Кривоарбатском переулке. Из двух смежных комнат семикомнатной коммуналки, в которых проживали Иконниковы, одну, дальнюю, занимала престарелая мама Гвидона Таисия Леонтьевна. Когда Гвидон в сорок пятом вернулся домой, Иконникова-старшего, видного учёного-пушкиниста, он уже не застал – тот погиб в начале сорок второго, разбившись об асфальт собственного двора после того, как взрывная волна от немецкой авиабомбы вышвырнула его с крыши дома, где он дежурил в составе подразделения помощников бойцов ПВО по борьбе с зажигалками. Успел лишь прошептать Тасе, когда она прибежала, едва живая от страха:

– Скажи Гвидону, чтобы учился... – и умер.

От родительской комнаты, предложенной матерью, Гвидон отказался. Остался в проходной. Тем более что сразу, начиная с сентября, продолжил учёбу в Суриковке. Приходил поздно, а то и вовсе не приходил, не хотел лишний раз беспокоить маму, которой уже тогда было глубоко за шестьдесят. Иногда возвращался основательно поддатый, а порой – с лучшим другом Юлькой Шварцем, когда тому по причине нетрезвости добираться домой на Серпуховку было не с руки. Так что подобное распределение семейной площади было вполне разумным и справедливым.

Стремительный роман, начавшийся между Гвидоном и Присциллой Харпер на следующий день после того, как все они вернулись из Жижи, где провели три незабываемых дня, поглотил Гвидона целиком, без остатка. На собственной выставке он появился лишь через три недели, к моменту закрытия, как раз на другой день после того, как проводил в аэропорт улетающую в Лондон Прис. Был трезв и задумчив. Правда, к концу мероприятия всё равно напился и подрался с каким-то хмырём из секции графиков. Хмыря звали Феликс Гурзо: как и многие другие, он уже пребывал под хорошим градусом и разбил скульптурно выполненный в натуральную величину керамический подойник, запечённый Гвидоном в трёх эмалях. Идея нарочито грубо вылепленного подойника родилась в момент, когда он наблюдал, как баба Параша, у которой они были на постое все их жижинские годы, доила корову. Когда вылепил основную форму, внезапно понял – вот оно! И начал энергичными движениями вдавливать ладони в мягкую ещё глину. Затем довольно уродливо надмял по всей окружности верхний край сосуда. Так и оставил. Добавил лишь два грубых ухвата, расставленных противоположно по диаметру. Эмалями крыл лишь наиболее глубокие вмятины, образованные в виде следов от кончиков пальцев.

Подойник раскололся на две почти равные части плюс уголок размером с пол-ладони и один хват. Когда бойцов разняли, Феликс утёр рукавом кровь с разбитой губы и сказал, внезапно совершенно остыв:

– Знаешь, Иконников, я это твоё ведро разбил случайно, но, если честно, хотел бы разбить специально. Знаешь почему?

– Почему? – хмуро спросил уже успокоившийся Гвидон.

– Потому что ты гений, брат... – явно преодолевая себя, выдавил Феликс так, чтобы никто не сумел расслышать его слова. – И ведро это твоё гениальное, поверь мне, мудиле нетрезвому. В другой раз я, может, такое тебе бы и не сказал... А керамику склею – не заметишь, уж чего-чего, а чужое говно подчищать умею хорошо.

Потом они, не сговариваясь, пожали друг другу руки и обнялись. И задружились. На ближайшие тридцать семь лет.

Целый год, до второго Прискиного приезда, они с Гвидоном переписывались, хотя, как выяснилось позднее, письма в обе стороны доходили не всегда, а если точнее, то «терялась» по дороге их большая часть. Сразу из аэропорта, не обсуждая географию будущего проживания,

отправились к Гвидону. Мама была уже в курсе. Соседи, на всякий случай, тоже. Им между делом было сообщено, что приезжает внучатая племянница покойного Иконникова-старшего, из Риги, поступать на учёбу в Институт иностранных языков. Таисия Леонтьевна переживала – не понравится англичанке коммунальное жильё. Гвидон шутливо успокаивал:

– Не переживай, мамуль, она мне жена будет, обещаю тебе, так что рано или поздно всё одно привыкать придётся... А потом дом построим и уедем отсюда на хрен. И заведём козу с козлом. Козёл будет блять Козловским, а коза – Лемешевым. И тебе не придётся разрываться между ними, как сейчас. Всё будет под рукой, в одном концерте.

– Гвидош, миленький, ну держи себя в приличиях, ты же сын пушкиниста как-никак, – укоризненно качала головой старомодная мама, но шла на кухню варить свёклу для винегрета, разделять селёдку для рубленого фарша, варить вкрутую яйца – для всего, мелко резать лук – тоже для всего, шинковать капусту – для первого, чистить и толочь грецкие орехи – для сметанника. Испечённые заранее коржи уже были наготове: сложенные в неровную и решительную стопку, они располагались на комод. Гвидон залюбовался:

– Мам, вот даже сама не понимаешь, какой ты замечательный скульптор, – он кивнул на стопку коржей, – вещь приобретает форму, лишь когда она расположена естественным образом, как эти твои коржики. Знаешь, чего мне сейчас хочется? Облить эту стопку тонким слоем полупрозрачного матового клея и обсыпать со всех сторон обломками пирамидона. Средней крупности. Как тебе?

Таисия Леонтьевна лишь неопределённо пожала плечами, не придавая значения малопонятным шуткам сына. Гвидона это явно задело, он стал заводить себя.

– Ну смотри, мамуль, смотри, что я делаю. – Он взял в руки шаль Таисии Леонтьевны, отвернулся и бросил её через спину в сторону кресла. Затем повернулся и ткнул в неё пальцем. Одним краем шаль лежала на подлокотнике, своей средней частью перекрывая сиденье, и далее, замерев, спала к полу мохнатым кончиком с тремя кистями. – Ну, ведь изумительно красиво лежит, согласишься? Специально так никогда не положишь, как ни старайся. Понимаешь, я о чём?

Мама снова сделала неопределённый жест, поведя головой:

– Лежит и лежит себе. Не вполне понимаю, Гвидош, в чём тут такая особенная гармония?

Гвидон хохотнул в предвкушении разоблачения маминого неведения относительно области прекрасного.

– А теперь смотри. – Он взял шаль в руки и протянул Таисии Леонтьевне. – Положи на кресло. Как хочешь, так и положи. – Мама взяла шаль и положила на кресло. Гвидон поморщился. – Мамуль, ну просто смотреть противно, не находишь?

Таисия Леонтьевна прищурилась:

– М-да... получилось не очень... Может, ещё раз?

Гвидон взвился:

– Да сколько хочешь раз, мам, хоть бесконечно клади и поворачивай как угодно. Никогда не добьёшься естественности, как в первый раз. В этом и есть суть искусства, и тот, кто подбирается к этой сути ближе других, тот и есть художник. Как, например, твой сын. И остаётся лишь запечатлеть искусство в твёрдом материале. Тоже как это делает твой сын. Это ясно?

С самого начала Приска пришла в восторг от Кривоарбатского переулка с его шедевром мельниковского конструктивизма. Попросила остановить такси, когда проезжали знаменитый дом-стакан под номером десять. Вышла, уставилась в ромбы окон, стояла, затаив дыхание. На крыльцо вышел человек лет сорока, светловолосый, с лицом из прошлого века, улыбнулся девушке и стал мести двор. Присцилла сделала приветливый жест рукой, достала фотоаппарат и кивком испросила разрешения сфотографировать необычный круглый дом. Тот отложил метлу, подошёл, вежливо поинтересовался, чем может помочь. Присцилла спросила в ответ, могла бы она сделать снимок заднего фасада дома. Мужчина, услышав акцент, перешёл на бой

кий английский и приветливо распахнул калитку. Приска вошла, Гвидон остался стеречь таксомотор.

Вернулась она через час, счастливая и возбуждённая. К этому времени Гвидон давно уже отпустил машину и теперь стоял с двумя чемоданами на тротуаре в покорном ожидании. Приска подхватила чемодан, другой взял Гвидон, и они пошли по переулку, ближе к Арбату, к кривому загибу переулочного колена.

– Ты не поверишь, – доложила она Гвидону, – это сын того самого Мельникова, Виктор Константинович, тоже архитектор и художник. Он меня внутрь впустил, провёл по этажам. Это волшебное, просто волшебное...

Следующим предметом восторга Присциллы Харпер явилась сама коммуналка с велосипедом на стене, прихваченным за раму огромным и кривым, с хорошо заметной ржавчиной железным костылём.

– Никогда не думала, что можно жить вот так, всем вместе, под одной общей крышей. Это что-то из будущего, наверное.

Гвидон ничего не ответил, только поморщился. Но успел предупредить:

– Только тебе придётся помнить, что ванная у нас по расписанию, а на кухне и туалете у каждого свой электросчётчик, так что я тебе ещё покажу, где какой выключатель и какие наши. И не вздумай по-английски выражаться, тут же слетишь в свою общагу. Если не ещё куда подальше.

Но больше всего её восхитила мама, особенно когда выяснилось, что та переселяется в проходную комнату на время поста Приски у Иконниковых. А это без малого почти два месяца жизни.

– Спасибо, мам, но мы в основном будем жить в режиме уехали-приехали, так что роздых тебе дадим.

– Значит, так, – подвела итог первого дня Приска, когда они, напробовавшись маминих разносолов, лежали, обнявшись, в дальней комнате. – Мама у нас чудесная, еда превосходная, мужчина первоклассный. Стажировку уже можно считать успешной.

За прошедший год она заметно добавила в русском и говорила практически свободно, с совсем лёгким, но чрезвычайно украшающим её речь акцентом. Сказался, вероятно, переработанный и накрепко закреплённый в девичьих мозгах результат последнего визита.

– В Жигу съездим? – спросил Гвидон. – Хочешь? Мы там с Юликом строиться собираемся, никак не начнём. А то я опять без мастерской, а просить не умею. И не буду. Там засранцы одни собрались, бездари, ждут, пока с поклоном к ним приползёшь. И Юлик примерно в таком же положении, без нормальной площади.

Приска подскочила на месте и обвила руками Гвидонову шею:

– Ой, просто умираю – хочу. Ты не поверишь, она мне в снах являлась, помню всё в деталях, по маленькому кусочку. И сад этот яблочный, забытый. И поле за садом. И луг этот, жёлтый, с курятиной.

– С куриной слепотой, – рассмеялся Гвидон, – чукча всё же ты нерусская. А сад яблоневый, а не яблочный.

Огромный сад, начинающийся сразу за домом, если миновать соседнее, числящееся за местным пастухом картофельное поле и небольшую, но пригожую, хотя и разрушенную церковь восемнадцатого века, был и на самом деле великолепен. Прежде всего он был заброшенным, а потому ничьим. А это означало, что тысячи и тысячи спелых яблок всех мастей и пород тоже были ничьи, а значит, существовали сами по себе как самые вкусные на свете. И пока Гвидон месил глину и лепил горшок для Присциллы, они вместе с Юликом, испросив у Параши тёрку и кусок марли, неумоимо тёрли и попеременно давили через марлю руками сок от целого мешка яблок, который притащили после похода в сад. Брали подряд, не ориентируясь в сортах: розовые с прожилками, красные с желтинкой, зелёные с белым набросом – всё,

что просилось в руку. Потом упивались, тут же, все вместе, пока не успевал ещё испариться сумасшедший яблочный дух, пока ещё не завалилась в чистый сок стоящая колом яблочная пена, мутная, податливая и густая...

– А твой горшок у меня над кроватью стоит, на полке. Мама его очень любит. И Триш, сестра. Она хотела молоко налить, но испугалась, что разобьёт, потому что мама сказала ей, что это настоящий антик. Жаль, что мама не сможет эту вашу... нашу... Жижу никогда увидеть.

Гвидон приподнялся на локте:

– Это ещё почему? Лично я собираюсь через год брать тебя в жёны, когда ты с Кембриджем своим наконец разделаешься. Она что, даже на свадьбу не приедет?

– Триш приедет. Мама – нет. Её в Союз не выпускают. И визы не дают. Она десять лет пытается. Безрезультатно. А мы что – поженимся разве?

– Я точно на тебе женюсь, а ты как знаешь... – усмехнулся Гвидон. – Постой-постой, что за дела с мамой-то? Почему не пускают?

Оказавшись в Лондоне в мае сорок пятого, депортированная из Москвы своими же без объяснения причин, первые сведения о муже Нора Харпер получила из скудных материалов прессы, освещающей судебный процесс в Москве над английским шпионом и убийцей Джоном Ли Харпером. Так и никак иначе именовался подсудимый в публикациях советских газет. Английские печатные издания выражались скромнее. Тут он проходил как «представитель британских органов разведки». Факт наличия убийства в деле вообще брался под сомнение английскими журналистами, поскольку в просочившейся по некоторым каналам информации сообщалось о том, что убийство при аресте было двойным, и кто второй убийца, следствием так и не было установлено.

Попытки повлиять на бывших коллег мужа упирались в стену сочувственного молчания и явного нежелания комментировать случившееся с Джоном Харпером. На её бесчисленные запросы о судьбе Джона ей отвечали сухими фразами в письменном виде:

Уважаемая миссис Харпер!

Ваш муж, Джон Ли Харпер, был арестован в Советском Союзе 16 мая 1945 года при выполнении специального задания. При попытке оказать сопротивление в ходе ареста Джоном Харпером был застрелен оперативный сотрудник советской контрразведки. В соответствии с решением советского Верховного суда ваш муж приговорён к заключению в колонии строгого режима сроком на 25 лет. Вопросы, связанные с отбыванием Джоном Ли Харпером срока на территории Советского Союза, контролируются уполномоченными органами Великобритании. О любых изменениях вы будете проинформированы.

Что касается оформления специального пенсионного содержания для Вашей семьи, то в настоящее время вопрос находится в стадии решения, о чём Вы также будете незамедлительно уведомлены.

Далее следовал неясный крючок подписи. Нора запрашивала вновь, формулируя прошение иначе, детализируя вопросы и прозрачно намекая, что находится в курсе ряда фактов и событий, представляющих интерес для «уполномоченных» инстанций. В ответ с завидной регулярностью она получала идентичный ответ, выполненный под копирку. Разве что крючок неясной подписи всегда был непохож на предыдущий.

Так длилось до тех пор, пока она не стала получать положенное содержание, равное тому, какое получала бы вдова пострадавшего на государственной службе ответственного чиновника. С этого момента ответы на письма приходиться перестали, сколько и куда бы она ни обращалась.

Доподлинно неизвестно, нанесла ли Нора Харпер вред себе этими обращениями и намерениями и насколько они повлияли на планы МИ-5 в отношении свободы её передвижения. Одно стало ясным: путь в СССР отныне для Норы Харпер закрыт. Отныне любой контакт миссис Харпер с русскими стал не выгоден никому: ни британской разведке, которой всё же удалось некоторым образом сгладить конфуз и не довести его до разоблачительного скандала; ни русским, которые ни при каких обстоятельствах не впустят в страну и не разрешат свидания жене отбывающего, по существу, пожизненное наказание человека, знающего так много изнутри о самой подноготной правде советских разведорганов. Одновременно МИ-5 исходила из предположений о том, что Нора и на самом деле могла быть посвящена в личные тайны Джона – в те, что опытным Харпером могли быть закрыты для русских, но не для жены, и что такое обстоятельство вполне может служить ей разменной монетой в ходе торговли с русскими о новом сроке для Джона Ли или как минимум о возможности свиданий в местах его отбывания.

Решили компромиссно. Пенсию дали, хотя и проклинали за глаза эту настырную Харпер, место которой, по сути, должно быть рядом с мужем. Эх, если бы не честь мундира британской разведки... В то же время членам семьи решено было препятствий не чинить, не то уж будет перебор, и это сможет спровоцировать нежелательный выброс общественного мнения. Письма туда? Ради бога, пусть выстреливает в неизвестность. Перлюстрации на всякий случай, конечно, они будут подлежать, но дальше – флаг в руки, миссис Харпер, уж русские-то точно не доведут ваших посланий до вашего мужа, у них с этим строго, там вам не наша демократия под защитой королевы, там разговор с вашим братом короткий. В смысле, с вашей сестрой. Да и с адресом вы, кажется, не ознакомлены, не так ли? Ветер вам в парус!

В университете, где проходила стажировку, в этот свой приезд Присцилла появлялась довольно редко. Снова захлестнула любовь к Гвидону, так что было не до практики. В общежитие МГУ она сумела заскочить лишь через неделю после приезда, когда оба более-менее выдохнули и ненадолго оторвались друг от друга. Нужно было зарегистрироваться как иностранке. Там удивились тому, почему она отсутствовала всё это время и по какой причине так долго не несла документы для регистрации в ОВИРе. Стажёрка Харпер, в свою очередь, удивилась такому удивлению общежитского кадровика, объяснив, что в комнате не нуждается, потому что проживает у своего друга, в Кривоарбатском переулке Москвы. Это рядом со знаменитым домом архитектора Мельникова, и она хотела бы написать в английский «Обсервер мэгэзин» статью о доме и сыне знаменитого русского архитектора, как о наследнике и хранителе великого достояния своего отца.

– Это очень приятно, что вы такая патриотка нашей культуры, – пожал плечами, отреагировал кадровик, – но мне нужен адрес вашего проживания. И ваш паспорт. Заберёте через десять дней. Таков порядок.

Приска оставила то и другое и умчалась к Юлику Шварцу, в полуподвал на Октябрьской, где ждал её Гвидон и где уже вовсю наливали по случаю её приезда.

На другой день они вдвоём уехали в Жижу, где провели три чудесных дня. Бабке Параше привезли кулёк городских конфет, колесо краковской колбасы, рассыпного чаю и кило кускового сахара. Та была на вершине удовольствий. Сказала:

– Пожили б дольше, детки, и мне, старой, веселей б стало, а то одна всё да одна. Петра мовб ишшо в двадцать семом годе убили, комиссары, – что в колхоз не хотел иттить. А сынок ишшо малым помёр, от холеры. А боле никого нетути. Дом кому отойдёт, дажи ни знамо мне. Сельсовет заберёт, а мне неохота, хошь сама при жизни хату спаливай. А чё Юлька-то твой в энтот раз не захотел? Болеет, что ль?

– А давай мы так сделаем, баб Параш, – подумав, предложил Гвидон. – Дом твой перестроим для нас с Юликом, чтобы мы в нём жили и работали. Мастерские построим, как положено, с большими окнами, чтобы было много света. Сруб твой к дому подошьём, так чтобы

вместе получилось, одним целым. Амбар оставим, чтобы ты за скотиной ходила, но только если сама захочешь. Кормить, поить, денег на жизнь добавлять, сколько надо, тоже будем. А ты станешь нашей Ариной Родионовной. Хочешь так?

– Кем станешь? – не поняла Параша. – Какой ишшо Родионовой?

– Ну, короче, общей нашей бабушкой и няней. Как у Пушкина была. В общем, заботиться о нас будешь. Строиться начнём через год, когда денег подкопим. А потом ты нам его завещаешь. Так нормально?

Разговором этим Прасковья Гавриловна осталась довольна чрезвычайно. Все четыре дня пекла лепёшки, скребла деревянный стол, даже вынула из комода и постелила на выскобленные дочиста доски столешницы старинную скатерть с бахромой, разгладила морщинистой заско-рузлой ладонью и с хитринкой в глазах кивнула Присцилле:

– Твоё будет, девк. От мамы от моей...

Через пару дней по возвращении из Жижи в коммуналке Иконниковых раздался звонок. Просили передать Гвидону Матвеевичу, чтобы непременно зашёл в отдел кадров Союза художников. В четверг, к одиннадцати. Гвидон поморщился, но пошёл. Подумал: наверное, насчёт мастерской. Но отчего в кадры? И почему не в МОСХ?

Когда появился в Союзе, на улице Жолтовского, его уже ждали. Начальник отдела кадров, лысый толстячок Берендеев, приветливо покивал Гвидону, пригласил присесть, затем многозначительно указал глазами на человека в штатском, с блёклыми, водянистыми глазами, сидевшего в кресле для посетителей. И вышел. Гвидон непонимающе уставился на незнакомца.

– Собственно... – начал было он.

– Я работаю в Комитете государственной безопасности, – безо всякого перехода перебил Гвидона мужчина и вытянул из бокового кармана удостоверение красного цвета. Не раскрывая, сунул обратно. – Меня зовут Евгений Сергеевич. Поговорить надо бы, Гвидон Матвеевич.

Гвидон вновь непонимающе пожал плечами:

– А тема, извиняюсь? Я вроде не по шпионской тематике. Я скульптор.

Евгений Сергеевич улыбнулся:

– Я знаю. Напрасно вы думаете, что мы занимаемся исключительно шпионами. Есть дела и мирные. Бытовые, так сказать. Как ваш случай, к примеру.

– Это вы про что? – искренне не понял Гвидон. – Про то, что поорал в прошлом году в МОСХе на Хаджиева? Так пусть мастерскую выделяют, тогда не пришлось бы посылать их всех куда подальше. Вы про это, что ли?

Мужчина задумчиво посмотрел на Гвидона:

– Знаете, Гвидон, – мне можно к вам так обращаться? – (Гвидон кивнул.) – Этот вопрос не так сложно решаем, как вам кажется. Вы скульптор, заслуженный человек, фронтовик, имеете боевые награды, до Берлина дошли...

– До Краммы, – поправил его Иконников, – до Берлина не удалось, на передислокацию попали, а там уже поздно было, к тому времени наши Рейхстаг уже взяли...

– Вот видите, Рейхстаг, можно сказать, брали, – продолжал гнуть своё Евгений Сергеевич. – И вы что, думаете, после всего этого мы не дадим разрешения на ваш брак с Присциллой Харпер? Не сомневайтесь, дорогой скульптор, дадим. И с мастерской поможем непременно. Будете себе лепить да отливать на здоровье. – Последняя фраза получилась довольно двусмысленной, и кагэбист поправился: – Отливать в хорошем смысле слова, само собой.

Затем он быстро посмотрел в глаза Гвидону, пытаясь схватить его первую реакцию на сказанное. Она была вполне ожидаемой. У Гвидона вытянулось лицо, от этого рот приоткрылся и на какое-то время застыл в таком положении. Однако он быстро пришёл в себя.

– А-а-а... откуда вы... то есть... А что, разве я должен иметь разрешение на брак? И... я не понимаю, с какой стати мы вообще это всё с вами обсуждаем? И при чём тут мастерская? –

неуверенно начал Гвидон, но снова был прерван, на этот раз уже значительно более начальственно. Гэбист резко встал и промерил шагами, туда-сюда, кабинет Берендеева:

– Значит, так, давайте будем определяться, Гвидон. Спрашиваю сразу, а вы послушайте. Первое! Вам известно, кто отец вашей девушки? Второе! Вы в курсе, кем является родной дед вашей избранницы? Третье! Вам известно, чем, к примеру, занимается в настоящее время мать Присциллы Харпер Нора Харпер?

Снова Гвидон почувствовал, что оказался не на коне и что вынужден играть не по своим правилам. Поэтому ответил:

– Понятия не имею. А это имеет значение?

– Это не имело бы значения, если бы отец вашей девушки не был английским шпионом и убийцей, отбывающим в настоящее время срок в советском исправительном учреждении. Также было бы без разницы, если б Присциллин дедушка не был приближённым лицом её королевского британского величества. И уж совсем не интересна никому была бы мать вашей возлюбленной, Нора, если бы на протяжении ряда лет она не работала бы вместе с мужем против Советского Союза. – Он сел и закурил. – Что скажете?

Гвидон пожевал губами:

– Что скажу?... Знаете, лучше сначала спрошу, не возражаете? – (Тот кивнул.) – Вопрос мой такой: зачем вы мне всё это рассказали? Чтобы... что?

Евгений Сергеевич загасил сигарету.

– Вопрос поставлен правильно. Вы умный человек, Гвидон, я это сразу понял. И ответ мой будет прямым и честным. Итак... Вы регистрируете ваш брак с дочерью Харпера. Получаете нормальную мастерскую для вашей работы. Мы выдаём вам разрешение на выезд в Англию – со временем, конечно. Виза будет обеспечена: по творчеству, по браку – не важно, это наша проблема. Вы живёте на две страны: свободно перемещаетесь, выставляетесь, крутитесь по своим художественным делам. Но попутно становитесь нашим помощником. Сами понимаете... близость к этой семье... к сэру Мэттью... не может не интересоваться нас возможными отдалёнными результатами. Мы же с вами патриоты, верно? Нам же не безразлично, что происходит вокруг нас? В мире, в целом... И кто, если не вы... не мы... вложим в наше общее дело часть отпущенных нам... и вам... возможностей? Разве не так? – Он вопросительно посмотрел на Гвидона в ожидании ответа. Иконников молчал. Тогда сотрудник, словно внезапно вспомнив, добавил: – Кстати... не исключая вероятность того, что Присцилла сможет повидаться с отцом. Он, между прочим, жив и здоров. Правда, находится не близко отсюда. Но... всё возможно. Думайте...

Гвидон наконец очнулся. Слишком неподъёмная ноша обрушилась на него за такой короткий промежуток времени. То, что на любую сделку с этими... он не пойдёт никогда, в этом он не сомневался. Никакой шантаж, даже самый изысканный, и никакой соблазн, самый многообещающий, не заставил бы его пойти на чекистский уговор. Сомнения возникли лишь после того, как этот Евгений Сергеевич упомянул о Прискином отце. Гвидон и правда был не в курсе семейных тайн невесты. Не раз Приска собиралась рассказать ему о своей семье подробней. Но всегда не хватало времени: или они целовались, или бессчётно любили друг друга и было не до того, или же выпивали в компании Гвидоновых друзей, а это уж точно означало, что – не до всего остального...

Гвидон понятия не имел, что означает для Прис такая встреча, и потому не решился сразу послать этого... самого... к нехорошей матери. Решил сначала обсудить вопрос с ней самой. Так, на всякий случай. Шпион, не шпион, – это его сейчас беспокоило мало. Его волновала его возлюбленная. И только. И их совместная жизнь. И чтобы мама была здорова. И чтобы Юлик Шварц всегда был рядом с ним. С ними... Да! И ещё чтобы не осталось на этом свете сволочей...

Однако надо было что-то отвечать. Он и ответил:

– Знаете, Евгений Сергеевич... Мы ведь про женитьбу ещё не говорили, в общем-то. Так... Вроде... к тому идёт всё, но... даже если и придёт, то не раньше следующего лета. Она ведь учится ещё, студентка. Пока закончит, защитится... То-сё... Надо ещё подумать, определиться. Предложение ваше ясное, как говорится, вопросов пока больше нет. Но согласитесь, уж очень оно необычное, может всю жизнь раком поставить... извиняюсь за такое выражение... – Он как бы вопросительно взглянул на сотрудника, ища глазами сочувствия. Тот, улыбаясь, произвёл рукой разрешающий жест, мол, всё в порядке, всё нормально, продолжайте... – Так вот и давайте другого лета дождёмся, посмотрим, до чего мы с ней... долюбимся... И тогда вернёмся к этому ко всему. В принципе, препятствий особых не вижу, надо только к мысли к этой привыкнуть. Притереться, так сказать... Вы не против?

В этот момент он уже точно знал, что будет делать два часа спустя. Главное – успеть и не обосраться.

Евгений Сергеевич поднялся с кресла. Гвидон тоже встал.

– У меня ощущение, что мы хорошо поговорили, Гвидон Матвеевич, – прощально сказал гэбист. – Думаю, все вопросы утрясём и придём с вами к общему знаменателю. Только имейте в виду, визу на въезд в следующем году мисс Харпер может и не получить, по-разному, бывает, обстоятельства складываются. Так что обдумывайте тему по возможности скорее. И связывайтесь со мной, если что. Вот мой номер. – Он протянул записанный на блокнотном листке номер телефона. – Всегда рад помочь.

С этими словами Евгений Сергеевич коротко склонил голову и вышел за дверь, оставив Гвидона одного. Тут же влетел Берендеев:

– Ну что, поговорили?

Иконников не ответил. Он энергичным шагом вышел из отдела кадров, не прикрыв за собой дверь. Он спешил...

Через час весь разговор в подробностях уже был известен Приске Харпер. Ещё через два часа она, смотавшись в общагу на Стромынку, вернулась с паспортом в руках, в котором лежал вкладыш ОВИРа о законной регистрации гражданки Великобритании на территории города Москвы. А уже в шесть часов вечера оба они сидели перед сотрудницей соответствующего ЗАГСа и писали заявление на регистрацию брака. Денег, которые удалось собрать к моменту закрытия ЗАГСа, исходя из Гвидоновых знаний жизни, не хватало на взятку в ситуации экстренного брака с иностранной подданной. Поэтому пришлось срочно вы звать Шварца, который через двадцать минут довёз остаток нужной суммы. Томной загсовской тётке Гвидон доверительно изложил версию взаимной любовной горячки на фоне определившейся беременности и заверил, что невеста отказывается покидать страну без регистрации законного брака. А билет у неё на послезавтра. И сунул пухлый конверт. Тётка распечатала, глянула внутрь и осталась довольна.

– Иду на нарушение, – строгим, но негромким голосом сообщила она. – Вы даже себе не представляете на какое. Без разрешения компетентных органов, сами понимаете. Если б не беременность...

«И не продажность...» – подумал Гвидон, а на деле одарил тётку застенчивой благодарственной улыбкой.

На другой день, пока ведомство Евгения Сергеевича ещё не прочухалось, как это допускал Гвидон, районный ЗАГС к концу рабочего дня выдал молодым свидетельство о регистрации брака между гражданином Союза Советских Социалистических Республик Гвидоном Матвеевичем Иконниковым и гражданкой Великобритании Присциллой Харпер. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия Иконникова-Харпер. Со стороны жениха в качестве свидетеля выступал Юлий Ефимович Шварц. Со стороны невесты свидетель отсутствовал.

– Вот пусть теперь эти твари попробуют не дать Приске визу, – радостно подытожил событие Юлик. – Жену к мужу не пускать ни один закон не посмеет.

Потом они выпили водки в ближайшей арбатской кафешке, закусили сосисками с горчицей, и Прис внезапно сказала:

– Гвидон, где тут у вас международный телефон? Проводи меня, пожалуйста, я должна сделать звонок маме и сестре.

Юлик проглотил последний сосисочный кусок и решил уточнить:

– А у тебя что, сестра имеется?

Прис кивнула, расстегнула молнию кожаной сумки и вытянула оттуда фотку:

– Хочешь взглянуть?

Юлик опрокинул в рот остатки водки, запил это дело лимонадом и взял фотографию в руки. Как взял, так и застыл. На фотографии были изображены трое. Милая женщина лет сорока пяти улыбалась, закинув руки на плечи двух совершенно неотличимых Присцилл Харпер, обнимающих мать за талию одна левой, другая правой рукой. Сзади плескалось море...

Юлик сглотнул и пришёл в себя. Приска улыбнулась:

– Это мы в Брайтоне, там у нас дом. А это Триш, сестра-близнец. Младшая, у нас разница в восемь минут. Где кто – различаешь?

Юлик наугад ткнул пальцем. И попал. Попад, крепко задумался. Продолжая пребывать в задумчивости, попросил принести ещё сотку белой без лимонада...

А Гвидон уже вёз жену на Центральный телеграф, откуда они на остатки семейных денег заказали разговор с Англией по срочному тарифу. Лондон дали через сорок минут. На той стороне трубку взяла сестра.

– Триш, милая, это я! Ты меня слышишь? Скажи маме, что наш папочка жив. Слышишь? Жив!!! И ещё. Я вышла замуж, слышишь? За Гвидона!

Юлик с ребятами на Центральный телеграф не поехал, хотя и не отказался бы присутствовать при том, как Приска извещает домашних о столь сумасшедшей новости – только что вышла замуж за человека, который сообщил ей, что Джон Харпер жив и здоров. Само по себе это уже было потрясающе, что Прискин отец не сгнил безвозвратно в сталинских лагерях, хотя в получившихся обстоятельствах надежда увидеть его рухнула одновременно с брошенным Гвидоном вызовом в адрес власти. Так они решили. Решили сразу, Гвидон и Прис, не рассматривая ни малейшей возможности идти на любое сотрудничество с органами. Но с другой стороны, теперь можно хотя бы сделать запрос, поинтересоваться у той же окаянной власти, отчего не доходят письма Джона Харпера – кто ж поверит, что он их не пишет? Зато сейчас, вероятно, можно попробовать осуществить это Гвидону – в отношении тестя, не говоря уж о Прис – в отношении отца. Тем более что терять ему отныне, пожалуй, нечего, выбор он сделал, ни минуты не колеблясь: кислород ему по-любому теперь перекрыт основательно. Мастерская – ку-ку на веки вечные, участие в международных выставках, продажи, заказы – всё попылит мелким прахом. Как бы не пришлось ещё профессию менять...

Но в глубине Юликова организма, чуть ниже живота, всё же тянуло и покалывало. Нет, не зависть это была к бесстрашию, проявленному лучшим другом, хорошо понимавшим, на что идёт. Точно это знал. Скорее, это был вопрос, адресованный самому себе: смог бы? Пошёл бы на заклятие ради Приски? Ну, ради такой, как она? Ответ самому себе был неожиданным, быстрым и удивил: бе-зу-слов-но! Да, если б не Гвидоха!.. Эх, ч-чёрт, если б он, Юлька Шварц, не на разливе тогда стоял, на открытии выставки, а первым к Приске подкатил, первым зазнакомился, первым бы в Жижу затащил. Он прыснул и поперхнулся сам от себя: «в жижу затащил» – смешно получилось... А и затащил бы! И кого б, интересно, мы сегодня на выходе имели в сложившейся ситуации? Гвидона? А может, не Гвидона, а Юлия Шварца? Неплохого, кстати, живописца. Говорят, даже талантливого.

Лёгкое соперничество между друзьями имело место всегда, с детских лет, правда, в открытую не демонстрировалось ни одним, ни другим. Однако у Шварца было незначительное преимущество, по крайней мере в делах учебных. Мама Юлика, Мира Борисовна, работала преподавателем немецкого языка в их с Гвидоном школе, а заодно и завучем, и потому Юлику приходилось ездить со своей Серпуховки на Арбат, в школу, где работала мать. Так распорядилась Мира Борисовна, не желая глаз спускать с повышенно бойкого сына. Но и плюсы от этого были заметно ощутимы. Немецкий, агрессивно заталкиваемый в него матерью по поводу и без, Юлик знал весьма крепко. Прочие отметки ниже четвёрок заносились учителями в дневник тоже нечасто из-за нежелания конфликтовать с суровым завучем. Что до поведения, то было оно так себе, страдало от избыточного темперамента ученика Шварца, но всё же, при жёстком контроле строжайшей Миры Борисовны, не опускалось ниже границы терпимого. Гвидон же, не обладая подобной поддержкой изнутри, оставался, по обыкновению, таким, каким ему быть хотелось, черпая от школы педагогические блага по остаточному принципу. Таисия Леонтьевна, будучи по природе своей интеллигенткой старого образца, школу сына недолюбливала из-за повышенной идеологической муштры и пыталась мягко игнорировать родительские собрания, держа эту вакансию для отца. Однако Иконников-старший в такие места тоже был не ходок, тем более что большую часть времени проводил в Ленинграде, откуда был родом, у престарелых родителей, просиживая неделями в Пушкинском доме за работой над очередной диссертацией о поэте. Мира Борисовна таким отношением Иконниковых к школе была крайне раздражена. Не давало уgomониться агрессивное комсомольское прошлое. Под жернова строгой Миры Борисовны в своё время попал и Юликов отец, архитектор Ефим Захарович Шварц, бескомпромиссно уволенный супругой из семьи в тридцать втором из-за несогласия мужа с линией партии, издавшей негласный приказ о принудительном изъятии у собственных граждан излишков средств накопления для целей дальнейшей индустриализации страны. По велению домашней царевны девятилетнему Юлику общение с отцом в любом варианте отныне было запрещено и недоступно. Проникновение с обратной стороны также было исключено в силу сооружённых матерью редутов и прочих неприступных оградительных сооружений. Ходили слухи, что Ефим Захарович, не призванный в армию по причине слабого зрения, скончался от остановки сердца осенью сорок первого при рытье окопов линии обороны в районе подмосковного Крюково.

Одним словом, ученик Юлий Шварц, вольно или невольно замешенный на дрожжах боевого маминого темперамента и податливого отцовского чувства правды, на выходе являл собою любопытный образец носителя соревновательной неуступчивости, наколотой на костяк пламенной справедливости. Отсюда проистекало многое, как, например, извечное желание выступать защитником своего неуклюжего друга, худощего и длиннорукого Гвидона Иконникова по кличке Гиви, которую тот ненавидел. Из-за клички нередко возникали школьные драки, в которые в обязательном порядке втискивался отважный Шварц, чтобы лишний раз доказать несправедливость обвинений друга в принадлежности к грузинской составляющей рода Иконниковых. Мира Борисовна сильно бранилась, когда Юлька приносил вместе с обычной дневниковой четвёркой внушительный синяк под глазом и надорванный форменный рукав.

– Я не понимаю, что в этом такого обидного! – негодовала она, делая примочку на начинающем желтеть сыновьем синяке. – Что он о себе такого возомнил, этот ваш Гвидон! Ему что, стыдно, когда его уравнивают с грузином? А кто, по-твоему, наш вождь?! Бурят? Мексиканец? Наш вождь – грузин! И мы этим гордимся, весь наш народ. И русские, и украинцы! – Она шумно выдохнула. – И татары, и грузины!

– А евреи, как мы? Евреи гордятся? – неожиданно отреагировал Юлик на очередную мамину выволочку. – Вот когда меня, например, Швариком за глаза дразнят, я ведь не горжусь, я иду морду бить.

– Замолчи!!! – высоко взвизгнула мать, бешено вращая яблоками глаз. – Не смей издеваться над святым! Все гордятся, все без исключения! И запомни: нет никаких евреев в отдельности. И нет татар. Есть великое братство народов нашей страны, которое гордится тем, что у него был, есть и будет великий отец, прародитель всех народов. Великий Сталин!

– А для чего вы тогда меня Юликом называли? А не Ферапонтом, например, если так получается, что евреев совсем нету?

Вопрос неразумного сына прозвучал для матери неожиданно. На мгновение она потерялась, не зная, что ответить. Но ответила:

– Это только в память твоего прадеда. А так бы – ни за что!

– А грузины, значит, отдельно? – не унимался настырный сын. – Все мы состоим в одном братстве, а грузины этим братством, получается, управляют?

Шёл тридцать пятый год, Юлику стукнуло двенадцать, и это был единственный случай в его жизни, когда его измолотила родная мать. Она лупила сына молча, сжав зубы в приступе неуправляемой ярости, отшвырнув куда подальше педагогические приемы, которым была обучена и обучала сама, обезумев от того, что сама же и натворила, своими же заботами и трудами. Юлик не сопротивлялся и не орал. Он просто сжался в безмолвный комок и терпел, пока не минует приступ материнского бешенства. Понимал, что он сказал какую-то гадость и что этого говорить было нельзя, по крайней мере ей. Но отчего-то не сожалел о сказанном.

Наконец мать остановилась. Порывисто хватая ртом воздух, привалилась спиной к стене.

– Не смей... – выдавила она из себя. – Никогда не смей *его* трогать... Он этого не заслужил...

– Ладно, – ответил Юлик, поднявшись на ноги, – не буду. Я не хотел, это просто вырвалось. Нечаянно...

Он подошёл к матери и обнял её за живот. Так они постояли недолго, и она сказала, уже почти совсем успокоившись:

– Пойдём в ванную, сделаю ещё примочку.

Он кивнул головой и поплёлся вслед за Мирой Борисовной. Больно не было. Было жалко и противно...

Первый сексуальный Юликов опыт пришёлся на второй их приезд в Жижу, тем же, первым жижинским летом, после десятого класса. Глиняное приключение, что случилось в июне, так разохотило и увлекло, что решили повторить экспедицию через месяц. Тем более уже определено место, где можно было надёжно остановиться и без лишних вопросов. Были бы «Гусиные лапки» и ландрин. Уговорили ехать и девочек: Юлик уломал Кишлянскую, а Гвидон – Айнетдинову. Сказали, на два дня, лепить горшки из глины, на специальном гончарном станке. Фиру Кишлянскую мама отпустила легко, не боясь. Всё же с самим сыном завуча Миры Борисовны поедет. Ну и потом... свои как-никак, одной нации, а не какие-нибудь там неизвестно кто.

Алка Айнетдинова ехала просто так, за компанию с подружкой. Поцелуйных планов не имела, тем более с этим долговязым Гиви, который и целоваться-то, наверное, ни разу не пробовал. А то, что Фирка едет из-за Юлика, она знала точно. Та ей по секрету сообщила, что по её расчетам уже пора. Уже можно. И не только целоваться. Надо только всё знать как следует, чтобы не оказаться в дураках. Но Юлик-то наверняка уже всё прошёл, так что можно попробовать, если что...

До глины дело не дошло, хотя честно собирались и месить, и лепить. С собой был портвейн и початая бутылка сухого. На портвейн с трудом наскребли, а сухарь Гвидон увёл из маминого буфета. Там он простоял в самом низу последние полгода и был окончательно забыт Таисией Леонтьевной. Отец же этим делом никогда не интересовался. Его, кроме Пушкина и диссертаций, вообще мало что интересовало.

Из двух барышень хороша во всех смыслах, если по-взрослому смотреть, была, конечно же, Алка. Сиськи её рвались в небеса, как два соседних пика коммунизма, и, даже не потыкав пальцем, было ясно, что отдача от них будет не меньше, чем рикошет от накачанного до отказа баскетбольного мяча. Именно их, уставившись по случаю и без, неотрывно исследовал глазами Гвидон, не принимая во внимание прочие нюансы предстоящих отношений. Юлик же действовал правильней и по-мужски хитрей. Его расчёт строился как раз на нюансах. Сам же нюанс состоял в том, чтобы надёжно заполучить товар не наилучшего качества, но зато по вполне доступной цене. Дополнительными факторами в расчёте являлся нагловатый бегающий Фиркин взгляд, нескрываемая раскрепощённость в поведении и отсутствие защитного культурного слоя в семье торгового работника, откуда она происходила. Плюс, наверное, единство быстрых целей, исходя из национальной особенности, связанной с естественной страстностью натур. Так полагал Шварц. Прикидывал и уже мысленно определял, не без скрытого удовольствия, своё победное место в необъявленном соревновании с Гвидоном за преимущественное обладание мужским началом. Относительно Алки твердо знал – не даст ни за что. Тем более – Гиви. Знал, но с Гвидоном своими знаниями не поделился. Хотелось... ох как хотелось, проявив дружеское участие, утешительно похлопать его по плечу, обнадеживая следующим когда-нибудь успешным походом за предметом мечтательных вождений.

Насчёт Гвидона и Алки – так и вышло. Она рано ушла спать, ни намёком не выразив охоты вступать с Гиви в межполовые отношения. Юлик же, дождавшись темноты и без особого труда заполучив в распоряжение партнёршу, ошибся в главном – недооценил самого себя и свои мужские умения. В самый ответственный момент, когда голые, с чёрными волосками ноги решившейся Кишлянской, подрагивая, послушно разъехались в стороны и Юлик впервые в жизни так близко увидел в полутьме ещё никем не тронутую Фиркину розочку, с ним произошло то, о чём потом так не любят рассказывать мужчины, но зато с весёлым удовольствием обсуждают между собой опытные женщины. Юлик ощутил, как по голым ногам его стекает тёплый воск и как сам он конвульсивно дёргается то ли в приступе обуявшего его страха, то ли в порыве угарной страсти, вызвавшей преждевременное извержение из него этой липкой отвратительной жижицы, напоминающей густой рисовый отвар.

– Ты чего, Юль? – приподнявшись на локте, напряглась Фирка. – Чего случилось?

Он не ответил, а, подхватив в ком одежду, погнал прочь из Прасковьиного амбара. Сначала просто на улицу, в никуда, потом – к глиняному оврагу. Там он натянул штаны, майку, сел на край земной расщелины, опустил ноги в мутную глиняную жижу и заплакал...

Утром пытался вести себя бодро, с ухмылкой, при этом Фирке в глаза смотреть избегал. Но уже успел просечь – позор его зафиксирован и принят к сведению женской общественностью. Понял по тому, как они переглядывались украдкой, Айнетдинова и Кишлянская. Не врубился лишь Гвидон, пребывая в полной уверенности в несокрушимой победе своего удачливого друга и радуясь открытию счета.

Через год Алка Айнетдинова убыла с семьей в эвакуацию, в Башкирию, и следы её затерялись. Поговаривали, вышла там замуж за местного продовольственного снабженца. А Эсфирь Кишлянская ушла добровольцем на фронт, медсестрой, и погибла, когда тащила на себе бойца из-под бомбёжки. Вместе с раненым её разорвало на части так, что и нечего было собирать. Узнав об этом уже потом, через год после войны, когда он вернулся домой и попытался найти кого-либо из однокашников, Юлик, ужаснувшийся поначалу от того, что ему пришлось узнать про Фирку, внезапно ужаснулся и от другого, ужаснулся сам себе, своему мерзкому и гадливому чувству облегчения из-за того, что свидетельства его прошлого позора больше нет.

Его прочие мужские победы, уже из действительных, из тех, что пришлось на военные годы, были многочисленны и, по обыкновению, носили кратковременный характер. Сначала была ротная санитарка Аня, таскавшая им спирт. Она и сама была не прочь дёрнуть глоток-другой и залечь по-быстрому с кем-нибудь, кто побойчей и помоложе. Таким оказался младший

лейтенант Шварц, с новенькими знаками отличия на отложном воротнике, только прибывший из учебки прямо на фронт. С Аней он с первого же раза постарался расквитаться за незабытый ученический позор. Расквитался так, что санитарка начала подворовывать и лямзить спирт персонально для Юлика сверх всяких отпущенных норм, за что и поплатилась переводом в другой полк. Но пока длилась их связь, не по-военному неистовая и неуёмная, вверенный Шварцу сапёрный взвод, разогреваемый спиртом неугомонной Ани, показывал славные результаты, воюя немца каждый раз так, словно это был последний бой.

Дальше были фрагменты, их было много, и они плохо запоминались Юлику из-за отсутствия сколько-нибудь значимого чувства с обеих сторон – так, быстрые фронтовые соединения: в землянке, в кустарнике, в деревенской избе, в стогу сена. Это потом уже, на территории немца, всё пошло куда как культурней. Удивляла странная предрасположенность немцев отдаваться победителю без мучительных внутренних переживаний. Как только они убеждались, что опасность для жизни и здоровья отсутствует, то сами деловито разбирали чистую постель и приглашали русского воина занять в ней завоёванное место. Такая покладистость немцев была приметна сразу, с первого взгляда, и этому лейтенант Шварц долго не мог найти объяснений. Позже сообразил: немецкая пунктуальность и разумный подход к жизни касались всех, и женщин в том числе. Немецкая самка, в отличие от нашей, борется за выживание цивилизованно и делает свой вынужденный выбор разумней. Без стенаний и соплей.

«Наши б так не сумели, наши б кто удавился потом, а кто бился бы до последнего», – подумал он, когда «немецкие» встречи, порой с долей откровенно неприкрытой благосклонности со стороны их баб, стали привычно-регулярными в течение всего времени, пока они давили немца на его территории.

Зато в «комендантский» период, пока поднимали из руин Крамм, регистрировали возвратившихся после войны немецких солдат и помогали местным выживать, случилась короткая любовь. Ну, не любовь, скорее, неподдельная увлечённость. Немочка, из чудом уцелевших евреек, фрау Эльза Хоффман, была балериной, бывшей, с длиннющей, без единой морщинки тонкой шеей, талией в обхват двумя ладонями и отсутствием в жизни мужчины вообще. К тому же умная, злая и чувственная, как нарывающий и готовый каждую минуту прорваться чирей. Стоило лишь прикоснуться пальцем к любому не покрытому одеждой месту на теле, как та начинала вибрировать и стонать в ожидании продолжения. Шварца такая странность немкина и удивляла, и заводила одновременно. И поэтому, расквартировываясь на краммский период службы, он выбрал постой именно у неё и прожил в её квартире почти до самой демобилизации и возвращения на родную Серпуховку, к заждавшейся его строгой маме, которая ко Дню Победы стала директором их с Гвидоном школы.

Оставшийся месяц пришлось доживать в построенной к тому времени для советских служащих казарме, но каждый день, словно заведённый, он заруливал на привычный адрес, чтобы... Короче, старался не пропустить и дня.

Таких женщин он ещё не знал. Она-то и обучила лейтенанта Шварца искусству истинной любви между женщиной и мужчиной. Или истинной страсти. Оказалось, в этом деле в ход идёт всё, о чём Юлик и не подозревал, начиная с пальцев ног и заканчивая трепетными ласками вокруг... В общем, уезжал лейтенант Шварц, пройдя нешуточную школу иноземных знаний бытия, дарованных ему тонкошейей балериной в отставке вместе с игриво-страстным именем Хуан.

Дожав кафешные остатки, Шварц неторопливо поднялся и вышел на Арбат. Был июньский вечер, но сумрак ещё не достиг той точки, когда Москва готова была переключиться на вечернюю жизнь. Небо изливало остатки розоватого света, оставаясь, по существу, чистым, несмотря на то что основные облака расползлись по его нижнему краю и оторвавшиеся от них бело-серые хлопья произвольным образом отлетали на большие и малые расстояния.

Он сел в троллейбус. Тот задвинул дверные гармошки и покатил вдоль Арбата, в сторону Смоленки. Юлик катил вместе с троллейбусом, считая по пути фонари освещения – просто так, тупо, потому что никак не мог сосредоточиться на том самом, что начало грызть ему кишки, когда он взял в руки Прискину фотографию. В глубине Спасоналивковского переулкa высветилась маленькая белая церковь. Он и прежде замечал её не раз, когда пробегал мимо переулкa, спеша в школу или возвращаясь обратно к Смоленке, но никогда не заходил внутрь, полагая, что такому, как он, безбожнику от иудейского племени и юному натуралисту будет, наверное, обременительно располагать дополнительным знанием не прямого назначения. Он даже не знал, работает она или нет, в смысле – «Аллилуйя тебе, Христос воскрес». Где-то изредка негромко позванивало – он слышал не раз, – но так уж исторически сложилось, что разновсяких храмчиков и храмов в этом районе Москвы было немало, и откуда доносился до его ушей этот дальний звон – сообразить Шварц не мог.

В этот момент двери открылись, и, поразмыслив мгновение, он выскочил из троллейбуса на воздух. Как раз напротив церковного переулкa.

«Интересно, – подумал Юлик, – а свечи нынче принято ставить на желание?»

Он прошёл ещё немного и увидел, что из дверей храма вышли, держась под руки, две арбатского вида старушки.

«Стало быть, работает, – убедился он и двинулся ближе к дверям. – Покреститься, что ль? – выплыла идиотская мысль. – Во мать удивится! Двойной удар будет, точно: и по еврейской линии, и по партийной».

Оглянувшись на всякий случай, Шварц зашёл внутрь и осмотрелся. Народу уже не было, служба закончилась, свет от паникадила едва достигал пола храма, горели лишь пара свечей да одна из лампад. Третья свеча, израсходованная до половины, не горела, торчала просто так, с обгорелым кончиком. Юлик выдернул её из гнезда, поджёг от горящей свечки и вставил обратно в то же самое гнездо.

– Значит, так, – обратился он к себе. – Если выгорит дело – покрещусь. – И добавил после паузы: – Когда-нибудь. И пропади всё пропадом...

Что это было за дело, чем оно должно закончиться и кто должен был пропасть пропадом, Шварц уже отчётливо себе представлял. Впоследствии, вплоть до самого конца жизни, он не раз благодарил себя за принятое им в этот день безрассудное решение. Это был вечер пятницы. Оставалось лишь прокачать детали с Гвидоном...

А в понедельник утром скульптор Гвидон Иконников набрал номер Евгения Сергеевича и попросил о встрече. Тот, уверенный, что дело сдвинулось быстрее, чем он сам предполагал, дал согласие и назначил randevu на том же месте, на среду, тоже на одиннадцать.

Когда Гвидон появился в Союзе, тот уже был на месте. Берендеев в отделе отсутствовал – видимо, был выпровожен заблаговременно. Евгений Сергеевич поднялся, приветливо кивнул, протянул руку. Гвидон пожал её и опустился на стул. Кагэбист улыбнулся:

– Ну что, Гвидон, вас можно поздравить?

Гвидон поднял глаза:

– Так вы уже знаете?

Евгений Сергеевич развёл руками:

– Догадываюсь. Вы приняли правильное решение, Гвидон. И теперь нам с вами предстоит большая работа. Очень большая и очень ответственная.

Иконников выдержал паузу и произнёс:

– Я имел в виду, что вы знаете о том, что мы с Присциллой Харпер теперь муж и жена. Мы поженились. Зарегистрировали законный брак.

Евгений Сергеевич удивлённо поднял глаза:

– В каком смысле поженились? Как это? Когда?

– В прошлую пятницу, – спокойно ответил Гвидон. – В ЗАГСе. Пришли и расписались. – Он посмотрел в глаза сотруднику органов и отчётливо проговорил: – Потому что так мы с ней решили. После нашего с вами разговора.

– Надеюсь, отдаёте отчёт своим словам? – сухо спросил сотрудник. – Место для шуток нашли неудачное.

– А я не шучу, – без всякого выражения на лице ответил Гвидон, – можете проверить, вам это несложно.

– Что ж, проверим, Гвидон Матвеевич, непременно проверим... – Казалось, он был едва заметно растерян, вырабатывая одновременно план дальнейших действий. И Гвидон понял, что сидящий напротив него самоуверенный чекист совершенно не готов к такому повороту событий. Это придало ему храбрости, и он приступил к следующему этапу разговора, к тому, ради которого пришёл на эту встречу.

– Вы не ругайте меня, пожалуйста, Евгений Сергеевич, – неожиданно с просительной интонацией в голосе произнёс Иконников. – Понимаете, я прикинул и понял, что не смогу. Ну не такой я человек. Я и в жизни-то неуверенный, а в таком деле, подумал, буду и вовсе плохим помощником. Это ж не война, не фронт: заряжай – наводка двадцать – прицел пятнадцать – огонь! Тут подходы нужны, тонкость особая. А я врать не умею, не приучен с детства, так уж вышло. От этого и сижу без мастерской. А ведь пришлось бы притворяться, а? Наверняка же?.. А я не справлюсь, завалю всё дело рано или поздно. – Он смиренно положил руки на колени. – Вот... такие дела...

Евгений Сергеевич выслушал без единой эмоции. Встал:

– Мне кажется, Иконников, вы сидите сейчас передо мной и дурочку разыгрываете. Я не то-о-о... Я не э-э-это... А насчёт регистрации живо всё просекли, руки в ноги и в ЗАГС. Да ещё, уверен, всех там заморочили и все нужные ходы разузнали. Ну, это мы ещё разберёмся, как вы там своего добивались, это дело такое...

Гвидон смиренно слушал, опустив глаза в пол. Когда чекист взял паузу, он тут же втиснулся в неё, чтобы успеть перешибить настроение начальника:

– Я, собственно, знаете, чего о встрече попросил? – Тот с раздражением бросил взгляд на Иконникова. – Я хотел сказать, что у меня есть товарищ один, тоже наш, художник, очень хороший художник, так вот он тоже влюбился в мою девушку, я имею в виду, в мою жену... И в общем, так достаёт нас, что мы от него уже прячемся просто. Он считает, что первым с ней познакомился и что я поступил с ним подло, отбив её у него.

Евгений Сергеевич хмуро посмотрел на Гвидона:

– Ну и для чего вы, Иконников, мне всё это рассказываете? Чтобы я вас пожалел? Вам ещё самому себя жалеть придётся, и не раз. Это уж я вам гарантирую.

– Так вот я и говорю... – не обращая внимания на его слова, продолжил Гвидон. – А давайте мы его на ней женим? Ну, то есть... вы жените! – Он запнулся. – Я хочу сказать, он на ней тоже женится. Он ведь человек совсем другой, это не я. Он согласится сто процентов. И сумеет как надо сотрудничать. Он и языки знает, немецкий правда, но хорошо, почти свободно. У него мама партийно подкованная, идейная, директор школы. И сам фронтовик, ордена имеет, медали. Тоже до Берлина дошёл и потом ещё там служил, в Крамме. После войны уже.

– В храме? – недоверчиво переспросил кагэбэшник. – Это в каком ещё храме?

– Да нет, не храме, а в Крамме. Город такой немецкий, до Берлина немного не доходя. В советской комендатуре. Замок коменданта. – И, не сбавляя темпа, продолжил: – И Суриковку закончил с отличием, как я. – Он с надеждой посмотрел на чекиста. – Его возьмите, а? Меня не надо, я не справлюсь, точно говорю.

Человек в штатском аж поперхнулся и злобно произнёс на повышенных тонах:

– Вы что такое несёте, я не понял? Вы разведётесь, а на Харпер вашей жёны женился ваш друг? А для чего ж вы тогда женились? Чтобы голову нам морочить? Или цену набивать? Я вам ясно уже сказал, Иконников, вам конец! Забудьте о карьере, о мастерской, о заказах! Вы сами себе своими руками могилу выкопали!

В этот момент дверь в отдел кадров осторожно приоткрылась и в проём просунулась лысая голова Берендеева. Губы его растянулись в опасливой улыбке, и он спросил:

– Чайку, может, желаете, Евгений Сергеевич?

– Закройте дверь! – крикнул тот, и кадровик испуганно исчез в проёме.

Гвидон никак не прореагировал на ситуацию, а довольно спокойно попытался объяснить:

– Вы меня не поняли, товарищ уполномоченный... простите... Евгений Сергеевич. Я говорю не о Прис, моей жёне, а о Патриции, которая моей жёне приходится родной сестрой и заодно является её неотличимым близнецом. Как говорится, однайцовым. И потом... Она влюблена в Советский Союз, они с Приской были тут три раза, в детстве, жили под Сочи. Она неплохо говорит по-русски, обожает русскую культуру, сказки Пушкина знает, Рахманинова исполняет, Чайковского. Она пианистка, заканчивает там учёбу...

– Да-да, они там такую музыку любят, для эмигрантов и гомосексуалистов, известное дело. Другую их не учат исполнять? – ехидно прервал Гвидона особист.

Гвидон потупился:

– Да нет, она много чего исполняет и очень хочет приехать в Москву, кстати говоря... – Он снова постарался быть ближе к теме. Особист слушал молча, видно было, как у него на скулах под кожей ходят желваки. Он явно начал что-то схватывать, и водянистый взгляд его стал постепенно приобретать явственный серо-голубой оттенок. – Так вот я и подумал, – продолжил исповедь скульптор, – раз Юлик... то есть художник Шварц, Юлий Шварц, так влюблён в мою жену, то наверняка влюбится и в её двойника, в сестру. В Патрицию Харпер. Влюбится и женится. А дальше вы делаете с Юлькой... то есть со Шварцем, всё что надо по вашим делам. И отказа не будет – он такой, я его хорошо знаю.

– Еврей? – быстро спросил особист. И сам же ответил: – Еврей... Это, может, и к лучшему.

– Еврей-еврей, – с готовностью согласился Гвидон. – Стопроцентный! И по папе, и по маме! Я и подумал...

– Он сейчас где? – по-деловому поинтересовался Евгений Сергеевич, и Гвидон сразу сообразил, что как минимум катастрофы уже не произойдёт. Было видно, что мысленно сотрудник КГБ уже проворачивает в голове пару новых вариантов: во-первых, закрывается собственная жопа после фиаско со скульптором; во-вторых, руководству предлагается значительно более интересная комбинация с участием потенциально заинтересованного фигуранта. И более правильной для этого дела национальности.

– Он сейчас здесь, – ответил Гвидон, – ждёт в предбаннике Союза. Я ему ничего пока не говорил, но взял сюда на всякий случай. Сказал, может, вопрос с мастерской для него выгорит.

– Ну хорошо, – вернувшись к прежним интонациям в голосе, уже вполне спокойно сказал Евгений Сергеевич, – допустим, мы даём ей въездную визу и она приезжает в Москву. Почему вы решили, что она захочет стать супругой этого... как его...

– Шварца? – помог ему Гвидон.

– Да, Шварца этого вашего.

– Потому что Присцилла это берёт на себя. Она слишком хорошо знает свою сестру и уверена, что Юлик... то есть Юлий Шварц, с его талантом, с его коммуникабельностью, с его чувством юмора, – именно тот человек, который ей нужен.

– Постойте, так вы что, обсуждали с ней наш контакт?

– Да упаси бог, Евгений Сергеевич, я что, разве не понимаю, что можно, а чего нельзя? Да ни в коей мере. Просто он так нас достал... извините... честно говоря, что она первая начала этот разговор. А я тогда и подумал... И вот вам после этого позвонил...

– Значит, слушай сюда, Иконников. – Сотрудник резко перешёл на «ты». – Ты сейчас ступай и позови сюда друга, а по тебе решать будем после. Когда с другом определимся. И запомни: контакта нашего не было. Ни для кого. Надеюсь, разжёвывать не надо?

– Не надо, Евгений Сергеевич. Только...

– Что – только? – недовольно переспросил тот.

– Мы рассчитываем, всё же... Я хотел сказать... спросить... Присцилла, моя жена, может рассчитывать на встречу со своим отцом? Если всё будет как положено. Или... по крайней мере, чтобы Патриция с ним встретилась, сестра, без разницы. А лучше – обе. Это возможно?

– Нет ничего невозможного, Иконников, – сухо ответил Евгений Сергеевич, – но лучше не рассчитывайте. А впрочем... посмотрим. – Он ударил ладонью по столу, обозначая этим конец беседы. – Сейчас иди те и позовите сюда этого вашего... как его... Шварца. Всё!

Он повернулся спиной к скульптору и не поворачивался обратно до тех пор, пока в дверь не постучал художник Юлий Шварц.

Часть 3

Патриша Харпер прилетела в Москву в самом конце июля. Визу в советском посольстве ей выдали мгновенно и без лишних вопросов, что её изрядно удивило. Спектакль, сочинённый хитромудрым Шварцем и неплохо исполненный в первом акте Гвидоном, а во втором – перво-классно – самим Юликом, имел оглушительный успех в задуманном обоими деле: заполучении в жёны Прискиной сестры, чтобы не быть униженным и оскорблённым.

Сразу после беседы с Евгением Сергеевичем, где Шварц внятно и с достоинством подтвердил верность заветам Ильича и готовность продолжать службу на благо охранного комитета и всего Отечества в обмен на разрешение любить и быть любимым при наличии существенных благ, Юлик понёсся к себе в подвал, на Октябрьскую. Там его ждали Гвидон и Приска.

– Ну что? – спросили оба в голос. – Как?

– Звони сестре, – многозначительно разрешил Приске Шварц. – Пусть жениться едет. На мне... – И заржал. Потом кивнул Гвидону. – Этот гад подписку с меня взял, что, мол, всё такое, обязуюсь быть источником, сотрудничать... не разглашать... Агентурную кликуху придумал – Холстомер. Грамотный, с-сука, начитанный. Их там, наверное, не меньше, чем писателей, обучают.

– Холстомер? – удивилась Приска незнакомому слову. – Это что значит?

– Это рассказ Лео Николая Толстого, – прояснил ситуацию Юлик. – Про несчастную лошадь, которая поначалу была отменным жеребцом, а после стала никому не нужной клячей, лишилась мужского достоинства и пошла себе спокойненько на мыло.

– Куда? – не поняла Прис. – Куда эта лошадь пошла?

– На бойню, – снова со вздохом объяснил Шварц, – на отдельные составляющие для производства хозяйственного мыла. И меня туда отправят... – он усмехнулся, – и достоинства тоже лишат... Если вовремя не женюсь...

И налил всем по портвейну.

Патриша Харпер поступила в Кембридж одновременно с сестрой, но на факультет изящных искусств, где в числе прочего преподавали игру на музыкальных инструментах и теорию музыки. Она выбрала пианистический курс, склоняясь больше к преподавательскому, нежели исполнительскому направлению. К тому времени она практически самостоятельно освоила инструмент, причём весьма успешно, чередуя занятия в школе с бессистемным изучением русского языка, но зато с вполне усердным треньканьем по придворным клавишам. Старинное концертное пианино «Stainway & Sons» им подарил дед, сэр Мэттью. Тому, в свою очередь, инструмент с дарственным клеймом был отписан по распоряжению её величества королевы Великобритании Елизаветы Второй, проникшейся печальной историей приговора, вынесенного русскими сыну бывшего придворного искусствоведа. С такой просьбой к дочери обратилась королева-мать и получила безусловное согласие.

– Мэттью, милый, это для твоих внучек, – сообщила Елизавета сэру Мэттью. – На нём ещё незадолго до своей смерти сам великий Ференц Лист играл моей маме, в девятнадцатом веке. И Антон Рубинштейн тоже руку приложил. Уникальный звук. Клавиши слоновой кости. Пусть дочки Джона осваивают.

Осваивать клавиши досталось Триш. Нора предложила вариант обеим, на выбор, для вневременного времяпрепровождения: королевский инструмент или русский язык. Они и поделили. С этим и пришли в Кембридж.

Вторую половину сорок пятого года, когда завершился процесс над Джоном и тот окончательно исчез из её жизни, Нора Харпер пережила исключительно тяжело. Девочки, конечно

же, были рядом. Как умел, пытался, по существу, вдову сына опекать сэр Мэттью. Однако удар оказался чрезмерным даже для мужественной Норы. Будущее своё она отныне представляла с трудом. Смыслы были во многом утрачены, и то, что она никогда больше не выйдет замуж, сделалось для неё аксиомой на весь остаток жизни. Правда, девчонки не могли не радовать: обе обожали мать, обе – с явным проблеском если не таланта, то разнообразных способностей. Обе – трогательно любящие друг дружку. Обе – не оставляющие мать ни на минуту в их общем страшном горе. В них, и только в них видела она собственное, ускользающее, с неясной перспективой будущее.

В начале сорок шестого стало полегче. Послевоенная жизнь активно набирала обороты, и порой Нора с видимым интересом отслеживала в газетах, что происходит вокруг. Просматривая, наткнулась на статью обозревателя «Обсервер мэгэзин» о том, как погибли в детском приюте два мальчика, сироты, выпив молоко из бака, куда по недосмотру персонала попала травленная мышьяком крыса. Статья была написана высокопрофессионально, с натуралистическими подробностями и ужасающей по своей силе правдой. Через двадцать минут Нора Харпер уже знала, что ей делать, и это знание заняло её целиком, вплоть до самой смерти.

В сорок седьмом году под руководством Норы Харпер был создан благотворительный детский фонд «All we need is love». Через годы, примерно в восьмидесятом, великий Джон Леннон, позаимствовав у Норы, сочинил великую песню с одноимённым названием.

Средства начали стекаться в фонд ещё примерно через год. Приходили добровольцы, предлагая себя в качестве волонтеров. Фонд приступил к сбору сведений о детях и в первую очередь о тех, кого война оставила без родителей и родственников. Добровольцы добивались у правительства разрешения инспектировать детские приюты на предмет выяснения качества содержания сирот, их воспитания, питания, образования. Дело шло быстро и продуктивно. Время от времени сэр Мэттью, полностью находясь в курсе войны, объявленной Норой и её сподвижниками недобросовестным чиновникам, подбрасывал её королевскому величеству ставшие известными благодаря фонду неблагоприятные факты злоупотреблений по отношению к сиротам. Королева сердилась и поднимала телефонную трубку, прося соединить её с Черчиллем.

Одним словом, в скором времени «Harper Foundation» приобрёл определённый авторитет и, весомо представляя общественное мнение, начал издавать собственную газету с тем же, что и у фонда, названием. Главным редактором издания стала всё та же неутомимая жена Джона Харпера.

В тысяча девятьсот пятьдесят втором году в газете фонда «All we need is love» была опубликована статья, призывающая кабинет министров обратиться к советскому правительству с предложением об усыновлении гражданами Великобритании детей войны, так и не нашедших себе новых родителей. Автором статьи выступила Нора Харпер. Статья называлась «Love is all we need». Кстати, и этой удачно переконструированной Норой фразе нашлось достойное место в знаменитой песне Леннона.

Из всех уголков Англии в фонд посыпались письма и телеграммы с предложениями взять из Советской России ребёнка, а лучше двух. Можно и трёх, если русские не возражают. Больных, здоровых, инвалидов – не важно. Правительство Черчилля хранило молчание, никак не реагируя на призыв детского фонда, так взбудораживший общественность. И тогда сэру Мэттью в очередной раз пришлось изобретать причину, с тем чтобы предстать перед сиятельным ликом Матери нации.

И на этот раз королева выслушала советника, как всегда, с учтивой заинтересованностью, однако ответного мнения не высказала, а с непроницаемо вежливым лицом взяла паузу для раздумий.

Дети русских коммунистов... Их, возможно, сотни тысяч – тех, кто остался без отца и матери. А если и на самом деле Советы воспользуются подобным предложением для того,

чтобы наводнить Соединённое Королевство своими посланниками? И в кого они превратятся ещё, когда повзрослеют, никому доподлинно не известно. Елизавета раскидывала умом три дня и в результате позвонила Черчиллю.

– Сэр Уинстон, – сказала она ему, – я полагаю, было бы бесчеловечно и неоправданно с точки зрения гуманизма не воспользоваться предложением «Harper Foundation» об обращении к Советам относительно сирот войны. Я, разумеется, предполагаю ваше негативное к этому вопросу отношение, но всё же думаю, что проявленное нашей страной великодушие и гостеприимство смогут сыграть неопределимую роль в решении русских, куда направить их первый ядерный заряд. Мне бы очень хотелось, чтобы он упал вне границ Соединённого Королевства. Как вы полагаете, есть в моих словах доля здравого смысла?

– Я благодарю ваше величество за этот звонок, – пожевав сигарный кончик, промолвил премьер-министр. – Это лишний раз говорит о мудрости вашего величества и подтверждает, что все мы рядом с вами просто неразумные дети... Давайте сделаем так, как желаете вы, однако введём квоту в размере... скажем... одной тысячи будущих граждан. И сделаем это по линии правительства.

– «Пятьсот» звучит лучше, милый Уинстон, – чуть подумав, сказала королева и положила трубку...

Через четыре дня на имя первого заместителя председателя Совета министров СССР было направлено обращение правительства Великобритании. Ответ был дан однозначный. Тот самый, который велел подготовить Иосиф Виссарионович Сталин, оставив на тексте черновика личные правки красным карандашом:

Уважаемые господа!

Советское правительство с интересом и благодарностью рассмотрело поступившее от вашей страны предложение о передаче для постоянного проживания в английских семьях пятисот послевоенных сирот, граждан Советского Союза. Однако должны отклонить ваше предложение, поскольку, как вам хорошо известно, у Советского Союза хватило материальных и людских ресурсов для того, чтобы одержать неоспоримую победу в войне с гитлеризмом.

Из этого со всей очевидностью следует, что жизнь, здоровье и процветание пятисот детей, оставшихся сиротами после прошедшей войны, как и всех других детей и сирот Советского Союза, не могут и не должны вызывать ваших опасений относительно их судьбы. Советский народ всегда проявлял заботу и щедрость по отношению к детям, особенно к тем, кто лишился родительской опеки. У советского народа вполне достаточно сил и средств для того, чтобы вскормить и воспитать любого советского ребёнка вне зависимости от его материального положения и наличия ближайших родственных связей.

С уважением,

первый заместитель председателя Совета министров СССР В. М. МОЛОТОВ.

И обращение, и ответ советского правительства опубликовали почти все ведущие английские газеты. Результат достигнут не был, но сам факт инициирования такого обращения придал «Harper Foundation» дополнительную значимость и позволил заговорить о себе в весьма высоких кабинетах. Теперь окончательно стало ясно, что в стране громогласно заявил о себе влиятельный орган общественности, мнением которого не следовало пренебрегать. Наоборот, близость к «Harper Foundation» отныне медленно, но верно всё больше и больше начинала обозначать принадлежность к кругам столичной элиты, вызывая весьма приятные ассоциации

у представителей финансовых кругов, всеми возможными путями рвущихся к известности и власти.

Благотворительность, как выяснилось, оказалась недурным стартом для многих, чем эти многие не преминули воспользоваться. В то же время нельзя было сказать, несмотря на столь разросшуюся известность возглавляемого Норой фонда, что её личные дела были столь же успешны. Имелось в виду, что разрешения на выезд в Советский Союз, даже при наличии советской визы, ей дано быть не могло, как носительнице государственной тайны особого порядка. Разведка так и не простила ей историю с мужем, доведшую руководство МИ-5 до предынсульта в мае сорок пятого.

Дёргались, конечно, малость, но всё же не очень: даже если миссис Харпер начнёт раскачивать через свою газету и фонд эту невыездную тематику и выиграет, то всегда можно намекнуть на то, что всё ещё цела запись разговора с Норой Харпер в апартаментах жены посла Великобритании в Москве, в мае сорок пятого, сделанная сразу перед тем, как, находясь на территории посольства, невозвратно исчез из поля зрения разведки Джон Харпер, перебежчик, предатель и двойной агент. И в крайнем случае можно пойти и на этот пусть и рискованный, но продуктивный шаг.

Никакая запись, конечно, не велась, но ведь и самой Харпер об этом ничего не известно, и, не зная истинного положения вещей, вряд ли она пойдёт на то, чтобы своими же руками развеять миф о героическом муже-страдальце. И к детищу её, детскому благотворительному фонду, доверие полностью пропадёт. Надо это Норе Харпер?

Да и русские по-любому её не впустят. Им-то это зачем? Потенциальная раскрутка ситуации для них так же нежелательна, как и для МИ-5. Подобные конфигурации брата-разведчики, имеющие прописку на разных континентах, могут выявить, не вступая в заочный контакт. Есть в их потаённом арсенале неприкасаемые аксиомы, есть. Есть и черта, выше которой не прыгнешь, потому что прыгать выше этой планки не выгодно никому. А ещё лучше вообще не брать разбег...

К тысяча девятьсот пятьдесят четвёртому году существенно разросшийся детский благотворительный фонд «All we need is love» уже никто не именовал иначе как просто «Harper Foundation». Детская тема перестала быть для фонда единственно определяющей, возникли культурные, медицинские, образовательные и прочие немалочисленные программы деятельности Нориного детища. Ощутимо вырос и штат сотрудников; фонд и редакция газеты переехали ближе к центру Лондона, в только что отремонтированное помещение на Карнеби-стрит, совсем рядом с домом.

Июньским вечером пятьдесят четвёртого, вернувшись домой после насыщенного событиями трудового дня, Нора застала дома Триш, которая, не позволив матери снять обувь, кинулась ей на шею.

– Папа, мамочка! Папа наш!

– Что?! Что папа? Говори! – У нее подкосились ноги, ни одной из обрушившихся в этот миг на неё догадок не находилось места в голове, все они были пугающими или неисполнимыми.

– Жив!!! – заорала Триш. – Прис только что звонила, ей как-то удалось узнать! Жив папа, жив!! Сидит в советском лагере, но живой и здоровый! Не убили они его, мамочка!! Не убили!!

Потом они ещё долго стояли так, забыв притворить входную дверь... И молчали... Потому что не было сил говорить... Потому что у обеих текли слёзы счастья и проливались на паркет прихожей их небольшой лондонской квартиры...

Наконец Нора оторвалась от дочери, прикрыла дверь в жильё и спросила:

– Как она узнала?

Триш пожалала плечами и утёрла рукавом слезы.

– Не знаю, мам. Наверное, муж сказал.
– Какой муж? – не поняла Нора.
– Её муж, Прискин. Гвидон. Она, мам, замуж там вышла. Просила тебе передать.
Нора отступила на шаг, упёршись спиной во входную дверь:
– Как это вышла? Почему? Вот так сразу взяла и вышла за русского? И почему Гвидон?
Он что, русский аристократ? Из царской семьи?
– Ничего не знаю, мамуль, – неуверенно ответила Триш, – она трубку положила.
Нора задумалась:
– Может, он полицейский? Я имею в виду, русский милиционер?.. И для этого она замуж за него вышла? Чтобы про папу выяснить? – Нора тряхнула головой, чтобы сбросить оцепенение.
– Ну это вряд ли. Она с ним... В общем, роман у неё был в прошлом году, когда она в Москву летала. Он скульптор, сын учёного-пушкиниста, – успокоила её дочь.
– Скульптор – это другое дело, – удовлетворённо выдохнула Нора. – И то, что – Гвидон, тоже хорошо. Помнишь, у Пушкина?
– Я всё помню, мамочка. – Тришка снова прижалась к ней, и они затихли. Лишь ещё один раз дочь едва слышно произнесла: – Я всё очень хорошо помню...
Следующий звонок от Приски вновь пришлось принимать младшей сестре. Он раздался на пятый день после того, прошлого звонка.
– Триш, собирайся. Ты летишь в Москву, – ультимативно сообщила Присцилла сестре. – Так надо. Виза тебе будет. Когда сможешь?
– Когда? – задумалась та. – А зачем, Прис? Насчёт папы что-то предпринимать?
– Прилетишь – узнаешь, – столь же категорично подтвердила Присцилла намерение видеть сестру в Москве. – Ты нам нужна!
– Кому, прости? Не очень поняла.
– Нам! Когда у тебя экзамены?
Триш мысленно подсчитала:
– В середине июля. А что?
– Что играешь?
– Ноктюрны Шопена. А тебе зачем, Прис?
– Не позднее середины июля ждём. Билет бери на месяц, думаю, хватит. Всё! Я ещё буду звонить. – И Приска повесила трубку.

Считая от того дня, когда Патриция Харпер приземлилась в московском аэропорту, Приске оставалось до отлёта ещё недели полторы. В аэропорту её встречал художник Юлий Шварц. Так они решили: он и Гвидон. Приска подумала и согласилась:

– Может, вы и правы, мальчики. Триша у нас существо нежное, как все пианистические натуры. Её надо брать сразу, не давая прийти в себя. И так, чтобы не было помех вроде старшей сестры. А то всё её счастье сразу на меня обрушится, и Юлику придётся изобретать что-то экстраординари. А так... пусть они познакомятся, пусть он её в такси прокатит, Москву заодно предъявит к обозрению. – Она кивнула Шварцу. – Ты её через центр провези только. И обязательно у дома Мельникова тормозни, объясни, что это любимый дом её сестры в Москве. Ладно? И не забудь сказать, что мы к самолёту не успевали, были в отъезде. О'кей?

Триш ждали в Кривоарбатском, по этому же адресу теперь можно было зарегистрировать её в качестве временно проживающей в Москве иностранки. Таисия Леонтьевна, заблаговременно поставленная в известность о приезде невесткиной сестры, начала суетиться сильно заранее. Ударить в грязь лицом перед единственной представительницей иностранной родни было ну никак не возможно.

С утра подалась на рынок, чтобы всё самое-самое свежее захватить. Денег дал Гвидон, но Юлик настоял, чтобы все будущие расходы по пребыванию Прискиной сестры легли на него. В итоге решили – пополам. С деньгами пока было более-менее, особенно у Шварца. Удачно пристроил по случаю писанную крупно маслом на холсте голову собаки. Полуторагодовалая дворняга обреталась у них во дворе на Октябрьской, выпрашивая у местных жильцов питательное подаяние. Юлик частенько проникался сочувствием и прицельно швырял из полуподвального окна, прямо через решётку, остатки товарищеских трапез. Как правило, колбасные обрезки, сырную кожуру, селёдочные головы и промоченные в консервной жиже хлебные горбушки. Благодарный пес сжирал все, чаще – не глотая, при этом смотрел через зарешеченное Юликово окошко с такой животной признательностью, что Юлику ничего не оставалось, как метнуть добавочный кусок уже не от объедков, а оторвав от личного меню.

Пару недель назад он швырнул, по обыкновению, через квадрат решётки очередной шматок для поддержания собачьей преданности. Та, конечно, сожрала и, шумно внюхиваясь в окружающую среду, сунулась мордой в решётку, ища продолжения банкета. Тут-то Шварц и понял всё: про собаку и про себя. Не знал лишь к тому моменту, что пёс сыграет в его жизни роль поважней, чем разовый заработок. Да и тот в итоге не случился. А вообще композиция была безупречной. Осталось только написать. Что Юлик и сделал не откладывая в долгий ящик. Сделал и сам остался доволен.

«Редкий случай, – подумал он тогда. – Нравится собственное творчество. Анималистом, что ли, заделаться?»

На другой день картину купил забредший выпить Феликс. Тот самый, что подрался с Гвидоном, Гурзо, а потом задружился с обоими.

– Превосходный портрет, старичок, – раздумчиво изрёк Фелька. – Готов купить его прямо сейчас, если ты разрешаешь мне его перепродать. Говорю прямо, – честно признался он. – Я на нём собираюсь заработать.

Юлик не раздумывал:

– Только пускай у меня пока побудет. Хочу на него ещё посмотреть немного. А потом возьмёшь, идёт?

Забрал деньги, часть отдал за накопившуюся коммуналку, остальные решил сберечь до приезда Триш, на случай, если ничего больше не подвернётся. А для пса присмотрел недорогой ошейник. И нацепил. Чтобы по случаю не убили или не свезли на живодёрку. Заодно приладил бирку и там же, на ней, с культурным нажимом нацарапал: «Ирод». Такое имя псу присвоила местная дворничиха, «а чтоб не лез под метлу... у-у-у... ирод рода человеческого!». На кличку эту он охотно отзывался.

Стряпать мать Гвидона начала задолго до подъёма. Когда Гвидон и Прис проснулись, из кухни, просачиваясь вдоль всей коммунальной долготы, уже тянуло запахом печёночного фарша и свежесваренными вкрутую яйцами. Этот запах достиг дальней комнаты, и Гвидон никогда не спутал бы его ни с каким другим. Обожал мамин паштет. В кратчайший срок, ещё в прошлый приезд, вкус его просекла и Приска, начиная с первого гостевого визита к Иконниковым.

– Тришка обалдеет, – сказала она, потягиваясь. – Если с Юликом не поладят, то, по крайней мере, паштета наестся вдоволь. Так что в любом случае не зря летит. – Она спустила голые ноги на прикроватный коврик, поболтала конечностями в воздухе и откинулась обратно, на живот к Гвидону. Тот обхватил её голову ладонями, прижал тесней к животу и прошептал:

– Лю-ю-ю-ю-блю-у-у-у... – Он мечтательно прикрыл глаза, она – тоже. – Какой длинный звук, правда? Как будто перед тобой дли-и-и-и-инная, дли-и-и-и-инная у-у-у-у-улица... и ты бредёшь по ней не спеша... – И повторил: – Люб-лю-у-у-у-у...

В конце шестидесятых Гвидона занесёт в Ленинград, где на его выставку забредёт молодой рыжий гений по имени Иосиф Бродский. Они выпьют и разговоятся. Потом выпьют ещё.

И тогда по нетрезвому делу Гвидон расскажет ему про это самое, про эту улицу, про это длинное слово. Так потом родится одно из чудных стихотворений поэта: «...в улицах длинных, как звук люблю-у-у-у...»

Приска забросила ноги обратно и прижалась к мужу:

– Мама ещё яйца наверняка не резала. У нас есть куча времени, – и юркнула под одеяло с головой. Он – вслед за ней. Лишь остались торчать неприкрытыми длиннющие Гвидоновы ноги.

А ещё, кроме всегдашнего винегрета, печёночного паштета и рубленой селёдки, Таисия Леонтьевна приготовила сырный салат, рыбу под маринадом: смесь судака, щуки и трески, – и напекла пирожков с капустой. Но главным блюдом было первое – суп из сушёных белых грибов, первых в этом году, с рыночной сметаной. Боровики успела собирать жижинская Параша и тут же высушила в печке, специально для своих. Своими теперь у неё, после возникновения перспектив соединительного будущего, были Иконниковы и Шварцы. Последний во множественном числе, потому что тоже теперь с прицелом на грядущие изменения. В последний раз Юлька, отведав местного самогона, так бабе Параше и сказал, причём серьёзно:

– Всё, баб Параш, скоро женюсь. На второй При-ске. Так что наливай за семейное счастье.

Прасковья не поняла:

– На какой ишшо на второй, милок? С Гвидоном-та поругались они, што ль? Вон же, спать как хорошо уместе.

Шварц хохотнул:

– Вот и я так хочу, баб Параш. Просто сплю и вижу...

Патришу Юлий Шварц доставил на Кривоарбатский значительно позже ожидаемого времени. Во-первых, смотрели центр. Пока ехали, раза четыре делали остановки. Выходили, Юлик тыкал пальцем в сооружения и дома, объяснял, что к чему. Затем заскочили на Софийскую набережную – посмотреть на здание английского посольства. Джон как-то, в один из приездов, завозил туда девочек, даже по случаю познакомил с самим послом. Дом запомнился и не растворился в памяти, больно уж красивый особняк, настоящий старинный, папа говорил, от князей каких-то остался. Или от графа.

Ближе к финалу путешествия тормознули у Мельникова. И снова так получилось, что Виктор Константинович двор мёл. Заметив Триш, приветливо помахал рукой и пошёл отворять калитку. Принял за Прис, само собой. Та поздоровалась и спросила глуповато, на неважном русском:

– Хеллоу! Как дела?

Приветствие и сам вопрос сыну архитектора показались отчего-то странными, и он в недоумении пожал плечами. Заметил лишь:

– В последний раз вы говорили вроде бы лучше.

Вмешался Шварц:

– Это не Присцилла, Виктор Константиныч, это её сестра.

Мельников понимающе вскинул голову:

– Тоже любопытствуете? Что ж, прошу.

В общем, ещё лишних полчаса грибной суп остывал в фарфоровой супнице. А таксист нервничал в простое, однако Юлик, блюдя себя истинным джентльменом, успокоительно кивнул тому: не дёргайся, мол, добавлю сколько надо, не бойсь.

В это время, пока Мельников водил его будущую невесту по этажам знаменитого дома, демонстрируя на третьем этаже «стакана» мастерскую великого отца, он и сам дёргался и психовал. Тому была веская причина. Эта незвонкая и слегка заторможенная после перелёта Патриция Харпер за то непродолжительное время, пока они добирались до Арбата, успела понравиться Шварцу гораздо больше, чем нравилась её деятельная сестра.

Мамина еда, как и предполагала Приска, совершенно добила её сестру. И в силу усталости, и по причине новых вкусовых впечатлений.

– У нас так не есть всё запахнуть, – с трудом вспоминая подходящие русские слова, пыталась она донести до Таисии Леонтьевны сущность полученных ощущений. – Это просто чудес очень хороший, очень, очень вкусное еда от вас.

Юлик почти ничего не ел. Выпивать выпивал вместе со всеми, но откусывал потом от одного и того же пирожка с капустой. Гвидон толкнул его под сто лом ногой, мол, жри давай, а то подумает – алкаш. На Гвидоновы толчки Юлик не реагировал: неотрывным взглядом упёрся в Триш и глуповато улыбался невпопад. Таким, как в этот раз, своего друга Иконников не помнил последние лет двадцать, разве что в июне, в кафешке, когда тот впервые взял в руки брайтонскую фотографию семьи Харпер.

Уставшую с дороги Тришу разместили в дальней комнате. Там же, задвинутое в угол, стояло старое-престарое пианино «Бехштейн». Последние лет тридцать на нём никто не играл, и оттого оно пребывало в состоянии полной расстроенности, донельзя. Триш подошла к инструменту, откинула крышку, взяла две ноты поочерёдно. И закрыла. А Юлик поехал ночевать домой, на Серпуховку, куда в последнее время наведывался крайне редко. Гвидон же увёз Приску на Октябрьскую, в Юликов полуподвал.

На другое утро, дав выспаться будущей жене, Шварц заехал за Тришей на Арбат, и они двинули к нему в мастерскую. Ехали на метро, но получилось совсем не быстро, потому что почти на каждой станции Триш просилась выйти и с неподдельным интересом, внимательно и неторопливо осматривала затейливую архитектуру станций, мозаичные потолки, бронзовые скульптурные изображения, барельефные стены.

Когда наконец добрались до мастерской, своих там не застали. Постель была ещё тёплой, и куда делись ребята, Шварц не понимал. Но это было уже не важно, потому что у них у самих всё завязалось раньше самых смелых предположений.

Началось с собачьего портрета, ещё не забранного Фелькой. Триш зашла в тесное полутёмное помещение, осмотрелась и замерла. Через тюремный, решетчатый квадрат, с не снятого с мольберта холста, натянутого на подрамник, прямо на неё смотрели пронзительные пёсьи глаза. И столько в этом взгляде было глубоко закопанной животной боли, столько обиды от несправедливой этой подворотной жизни, столько лучилось в них надежды на милосердие незнакомого, доброго человека и такая пробивалась неисчерпаемая готовность человеку этому служить, что Патриша замерла на месте, не отводя от картины взгляда.

– Это наш Ирод, – заметив, как её приковало к холсту, пояснил Шварц. – Он тут живёт, в нашем дворе. Мы с ним дружим. Иногда он ко мне заходит в гости.

– Ваша работа? – всё ещё продолжая смотреть, спросила Триш.

– Моя, – пожал плечами Юлик. – Чья же ещё? Нравится?

– Это чудо есть... Вы очень, очень большой атыст. Это тэлант... – она замялась, – тэлэнтэд.

– Тогда эта картина ваша, Триш, – сказал Юлик, снял её с мольберта и протянул девушке. А про себя подумал: «Всё равно общая будет. А Фелька сто процентов не поверит, подумает – сам нашёл покупателя и хочет засадить дороже. Да и чёрт с ним, ни хрена подойники чужие размолачивать. Стоп! А деньги-то обратно? Ладно, у матери займу...»

А вот этого он страшно не любил, хотя и приходилось иногда употреблять родственную связь, когда с деньгами было кисло. Однако Мира Борисовна всегда давала, но и всегда звонила насчёт возврата в назначенный срок, если они долго не виделись. Юлик знал, что денег матери не жалко. Просто должен быть порядок во всём, тем более в щепетильной сфере. Профессия, которую выбрал сын, Миру Борисовну категорически не устраивала своей неконкретностью и безыдейностью. Пыталась, с запозданием, вставить слово, когда через год после окончания войны Юлий вернулся домой и сразу понёсся в Суриковку узнавать, про что там и как насчёт продолжения учёбы. Но не посмела. Оба боевых ордена и медали не позволили.

Тайно она страшно гордилась фронтовым сыновним прошлым; всё время, пока шла война, просила у неизвестно кого сделать так, чтобы не убило сына и не поранило. Видно, этот кто-то услышал, не убил и не поранил. Признаться себе, что просила в тот момент у незримых небесных сил, не могла, потому что в эту сторону и на самом деле не думала. А в какую думала, сама не знала. Именно это, так и не прояснённое до конца обстоятельство и стало в её удобопонятной и отлаженной жизни той самой затычкой, о которую Мира Борисовна споткнулась впервые. А в День Победы, услышав по радио знакомый сипловатый голос, незвучный, но родной, сообразила, кому адресовала произнесённые слова. Ему – единственному вождю вождей. Солдату, генералиссимусу, победителю и отцу в одном прекрасном лице с горделивым профилем.

В эвакуацию она ехать категорически отказалась, решив, что встретить врага советская женщина-мать должна у порога своего дома, если, конечно, враг явится к ней сюда, на Серпуховку. Отсиживаться в Узбекской ССР она не станет, не так воспитана. А врагу на его родном языке она объяснит, чтобы проваливал отсюда, пока цел, потому что всё равно рано или поздно придут наши и свинтят ему голову вместе с фашистской каской. Именно так она ему и разжует. Или умрёт любой смертью. Тут же. На Серпуховке.

Когда ребята вернулись, Триш всё ещё вглядывалась в морду Ирода. В руках Гвидон держал авоську, в которой, накрываясь, зависла над полом трёхлитровая банка разливного пива. За этим пивом, после того как они проснулись и освободились от утренних объятий, Гвидон увёл Приску, чтобы она воочию познала, как русские уважают пенный продукт. Прис подскочила к сестре и, прыснув, выдала по-английски:

– Ты себе представить не можешь, они продают пиво из маленьких железнодорожных цистерн на колесах. Одну опустошают, другую привозят.

Сестра прореагировала без энтузиазма. Просто кивнула, известив тем самым, что приняла информацию к сведению. Она всё никак не могла оторваться от Ирода. Пёсья морда никак не отпускала Триш, вогнав в состояние внезапного ступора. Гвидон то ли сочувственно, то ли с полным пониманием вопроса покачал головой, поставил банку на стол, сделал руки рупором, поднеся их к губам, и торжественным шёпотом, адресованным всем, кроме Триш, застывшей с картиной в руках, выдал:

– Ну всё! Наша будет... – Затем он сдёрнул с банки крышку и с напускным гневом выкрикнул в сторону хозяина мастерской: – Нет, ну стаканы сегодня будут или не будут, я не понял?!

Их роман, последовавший сразу вслед за вручением Иродова портрета, разрастался не менее стремительно, чем у Тришкиной сестры с Гвидоном. Через неделю Триш уже вполне бегло болтала по-русски, с каждым часом извлекая из памяти всё больше и больше правил забытой грамматики и отдельно всплывающих русских слов. В тот Иродов день они устроили себе пивной вечер. Трёхлитровой банки из цистерны им не хватило, пришлось потыркаться по близлежащим торговым точкам. Однако поход оказался безуспешным: пива нигде не было, народ разобрал восстановительный напиток ещё с похмельного утра.

– Ну да, – почесал голову Юлик. – Понедельник для соотечественников – день гнетущий. Ладно, ждите!

Он выскочил на Крымский Вал, схватил машину и стогнал в «Балчуг», в буфет гостиницы. Там его ещё не успели забыть. Обе буфетчицы, трудящиеся посменно, за последние пару лет неплохо изучили путь в полуподвал на Октябрьской. Каждая держала другую за потенциальную соперницу, и потому каждая пыталась оставлять Юлику экспортное румынское пиво в литровых ёмкостях для поддержания боевого духа в теле и душе любвеобильного художника. Юлик старался не обижать ни ту ни другую. С крутобёдрой Алевтиной с первого дня знакомства у него сложились отношения лёгкие и непритязательные. Она звонила и заезжала после

смены с пивом и всегда свежей воблой. Сразу раздевалась и ныряла в постель в предвкушении обалденных Юликовых ласк. Обычно спешила: нужно было успевать до прихода мужа со службы. Муж служил в охране Генерального штаба Вооружённых сил СССР, и по этой причине Юлик старался не ударить в грязь лицом, не ведая того, что близость буфетчицы с супругом не доставляла той и доли подвального блаженства, а выстраивалась по принципу: раз – два – отбой. И так два раза в три недели. Все восемь лет супружества.

Другая, бесформенно-худая, Раиса, с туго прищипленной к голове крашеной копной плохих волос, напоминала нераскрывшийся мухомор, но по буфету была старшей. А пиво любили все: друзья, друзья друзей, подруги друзей друзей, а также собственные подруги, подруги подруг, их многочисленные друзья и все без исключения натурщицы вне зависимости от степени дружбы. Румынское же давали только в «Балчуге», так что приходилось соответствовать потребности, резервируя часть запаса прочности и для буфетной командирши. Та, в отличие от помощницы, претендовала на «отношения» и обычно посещала полуподвал в состоянии лёгкой романтической задумчивости. Предложения руки и сердца от Шварца она так и не дождалась, но надежду не оставила и потому пиво таскать не переставала. К напитку, по обыкновению, прилагался отвес копчёного сервелата, недорезанного на порционные бутерброды гостиничным постояльцам. Для того чтобы деликатесное пиво не кончалось никогда, пока живы все участники общества его потребления, Юлик, применив творческий подход, рассчитал максимальные усилия для поддержания минимального тления в очаге балчугского буфета. Получалась такая картина. Алевтина – раз в две недели, не больше: при всём уважении не она таки определяет политику выноса не пробитого по кассе румынского продукта. Раиса, к сожалению, не реже одного оловянного солдатики в десять дней. Но никак не больше. И не чаще. Иначе себе круче выйдет – настолько дорогостоящим для Шварца окажется пенный продукт, что в глотку не польётся...

Короче, смотался в «Балчуг» и обратно, там застал Алевтинку, удачно отоварился и на той же машине вернулся обратно. Да в придачу с воблой, не пересохшей ещё, как всегда.

Потом, пока пили пиво другого сорта, честного, Юлик объяснял разницу между односолодовым и просто ячменным. А заодно учил Триш чистить и употреблять в пищу эту самую русскую воблу, с аккуратным объеданием рёбрышек, и, выдёргивая из межрёберных промежутков самые тонкие и вкусные кусочки, одновременно руководил дележом вобляной икры и прожаркой на спичке плавательного рыбьего пузыря.

Триш быстро захмелела и попросила проводить её в дамскую комнату, а заодно показать другие работы Шварца. Юлик проводил, объяснил, как лучше дёрнуть за ручку бачка так, чтобы не завалиться и попутно достичь слива воды. А потом, после бачка, не дойдя до картин, они стали целоваться там же, где оказались, в пространстве между туалетом и отгороженным помещением, где были сколочены стеллажи с подрамниками.

А ещё через сорок минут Гвидон и Приска незаметно испарились, и Шварц остался наедине с младшей Харпер. А ещё через девять часов они проснулись в обнимку в той самой комнате со стеллажами, куда так и не вспомнили, как и когда добрались.

На другой день Юлик перевёз Тришкины чемоданы к себе на Октябрьскую. А ещё через неделю, после того как сёстры обошли пешком всю Москву, облазив по наводке своих мужчин старые московские закоулки, накатавшись вдоволь на троллейбусе и метро, перепробовав все варианты уличных пирожков с капустой, рисом и повидлом, они решили вчетвером сесть в электричку и укатить в Жижу, к заскучавшей без друзей Параше. Вечером Юлик достал из морозилки два вафельных фунтика, один протянул Триш и спросил:

– Мороженого хочешь? Настоящее, московское. Сливочный вкус. – И услышал ответ, которому очень обрадовался, потому что понял, что с этой нерусской девушкой они существуют на одной волне.

– Нет, – ответила Триш, сохраняя серьёзную мину. – Не хочу. Нормального хочу, немороженого. Такого, как ты. – И засмеялась.

Утром перед отъездом к Шварцу заглянул Ирод. Он привычно сунулся мордой в зарешённое полуокошко мастерской и, не обнаружив никого, разочарованно гавкнул. Юлик был в спальном пространстве. Услышав позывные, он подошёл к окну, распахнул его и кивком головы дал Ироду разрешение на спуск.

Тот взвизгнул от радости, отжал мордой чуть приоткрытую дверь, ведущую в полуподвал, и понёсся по ступенькам к знакомому проёму. Забежав внутрь, сразу кинулся целоваться со Шварцем. Из кухни на звуки собачьей радости выглянула Триш. И обалдела:

– Тот самый?

– Ну да, – ответил Шварц. – Царь Ирод собственной персоной. Вот, в гости пожаловал. Жрать, наверное, захотел.

Триш присела и поманила Ирода к себе. Тот осторожно приблизился и вопросительно заглянул ей в глаза. Страху не было ни с той ни с другой стороны. Был явный взаимный интерес. Она погладила его по голове – Ирод позволил, не отстранился. Тогда она прижала его к груди, и пёс от удовольствия завёл глаза к потолку. Триш поднялась:

– Надо его кормит. Он едет в кантри хаус.

– Понял, – послушно отреагировал Шварц и улыбнулся, прижав девушку к себе. – А я еду?

Их жижинская неделя начала августа выдалась на удивление безоблачной. В том смысле, что небо, словно приветствуя возвращение обитателей Парашиного дома в расширенном составе, раскинулось над Жижей чистым и ослепительно-голубым, раздвинув горизонт и оттеснив облака за нижние его края по всей небесной окружности, куда хватало глаз. Стоял полный воздушный штиль, однако августовская жара каким-то чудом ухитрилась не задирать градус выше двадцати семи.

– Рай! – выдохнула Приска и посмотрела на сестру. – Рай?

– Рай? – переспросила та, подставляя лицо небу.

– Парадайз... – Приска обняла её и спросила по-русски: – Нравится?

Тришка подумала и ответила, тоже по-русски:

– Мне так кажется, я влюбила... мм... влюбилась. Очен сильно. Райт?

– Правильно, – засмеялась Приска, – а куда ты ещё должна была деться?

Внезапно Патриша перешла на английский:

– Скажи, Прис, я была там. – Она указала рукой в конец двора, где размещался грубо сколоченный туалет. – Это навоз. Да? Там отверстие вниз и темно. А где же тогда...

Прис вздохнула:

– Привыкай, милая, это Россия. А то, что ты видела, это русский туалет. – Она подтолкнула сестру рукой в направлении будки, соорудив при этом рожицу. – Смелей...

Ирод, почуявший запах настоящей, негородской свободы, какую нигде и никогда ещё не нюхал, обезумел от свалившегося на него счастья. Он носился по деревне как умалишённый, заглядывал во все дыры, от амбара, откуда не выветривался запах коровьего молока, до куриной кормушки с остатками засыхающих картофельных очисток и недобранного курами прошлогоднего зерна. Отметился в заброшенной церкви, что через овраг, оставил густой след в саду, определив себя в совладельцы никем не охраняемого яблоневого рая. Затем сгонял на кладбище, что отстояло от Жижи на полпути, не доходя до Хендехоховки. Ближе к первому вечеру похлебал глиняной жижи из оврага, замарав рыжей мутью передние лапы. После вечерней дойки баба Параша налила ему молока, и он, заведя глаза, лихорадочно выхлёбывал драгоценную парную жидкость, ради которой готов был отныне верой и правдой служить этой

доброй женщине с тёплыми, грубоватыми руками, совсем не похожей на его столичную крестную – дворничиху с Октябрьской.

Когда приехали и разместились, Параша вопросительно кивнула Юлику на Триш:

– Твоя?

Тот гордо кивнул в ответ:

– Чья ж ещё, баб Прасковь?

– Хорошия тожа, – благосклонно покачала та головой. – Как энта, как наша. И по лицу такая ж. Тольки...

– Что? – насторожился Шварц.

– Тольки пришибленная малость, не так весёлая, как наша. Тожи нерусская?

– Тоже, – обречённо согласился художник, – ты погоди, баб Параш, она попривыкнет, перестанет стесняться. У них там так принято, у нерусских.

– Ну-ну... – согласилась хозяйка, – пушай покушаеть и обвыкнеть, а там и повеселеет, гляди... Вам где постилать-то, на дворе аль в хати?

– На сене, – категорично отозвался Шварц, – а то она хорошо не обвыкнет и придётся менять её на нашу. А я не хочу её менять, я её люблю. Она мне будет законная жена, поняла, баб Прасковь?

Утром ушли за грибами, вместе с Иродом; проходили весь день, потом вместе чистили грибную добычу, сидя в палисаднике. Вернее, чистили все, кроме Гвидона, который вызвался довести домой девчурку лет шести-семи, на которую они наткнулись в лесу. Он присоединился к остальным позже, отмахав лишних километров пять, до Боровска и обратно.

А к вечеру безотказная Параша нажарила полную сковороду крупно накромсанных боровиков, перемешанных с подберезовиками и молодым репчатым луком с огорода. Оттуда же копанули молодой ещё картошки, отварили и, обжигая губы, ели прямо так, в мундире, откусывая от круглых горячих картофелин, присыпанных крупной сероватой солью и бабкиным укропом. А грибы ели ложками, вилка в доме была одна, её решено было оставить хозяйке, чтобы никому не было обидно. На десерт был самогон из сахара и ночь на сеновале. Но это – у Юлика с Тришей. Гвидон с Приской предпочли остаться в избе – не хотели мешать влюблённым.

Странно, но за тридцать прожитых лет – Юлик как-то поймал себя на этой мысли – он не был ни разу влюблён. Когда-то слышал в компании разговор знакомых врачей: если мужчина до тридцати не любил ни разу или по крайней мере не жил продолжительное время с постоянной женщиной, к которой испытывал привязанность или симпатию, то ищите в этом патологию.

Юлик тогда прикинул и сообразил, что в запасе у него ещё года три. Потом вдруг возник откуда ни возьмись косяк девок из балетного училища – каким ветром его надуло, он уж и не помнил. Кто-то приволок к нему в мастерскую одну, остальные в поисковой лихорадке набежали вслед. Ну и разговор врачебный тот как-то стёрся сам собой. Помнится только, что стал вдруг везде не успевать, а кордебалетные девки роились вокруг, как голодная стая мух, все из провинции, все хотели дружить и все давали без прелюдий и последствий, кто в расчёте на Москву, кто – на портрет маслом в рост на пуантах. Те, что истинно балетные, с талантом, духовкой в лице и растяжкой на полциферблата по вертикали, те не приходили и не давали. Те у станка день и ночь гнули, про тех уже всё давно и самим им, и учителям их известно было. Потом кордебалет испарился в один день, видать, кончилась их маета у поручня да разобрали девок по провинциальным театрам.

Но памяти, какой хотелось, не осталось. Не задела ни одна. Уж и молоденькие были, и тонкошеие, и сами дюймовочки-тростиночки, фуэте всё своё крутили как бешеные, на спор, кто больше оборотов даст, гнулись как резина, через голову наперекосяк: и стоя, и лёжа, и в прыжке успевали безотказно давать. Позже понял – отдавала кисловатым пбтом эта любовь,

хоть и молодым, балетным, но на рецептор пробивало, как ни старались, ни брызгались, ни терлись, не отбивался ничем крепкий аромат юных рабочих лошадок...

В очередной раз вспомнил о тех врачах, когда закончил наливать на открытии Гвидоновой выставки. Увидел тогда Иконникова в паре с англичанкой, сразу подумалось: могла бы в этот раз и на мне сработать медицина, тормознуть у нехорошей черты, известно ж, вот-вот уже по самой границе патологии пойду, тридцатник как-никак...

Триш лежала рядом, закинув руку ему на грудь, и безмятежно спала. Пахло сеном и тёплой коровой. Последнего поросёнка Параша забила в прошлом году и больше решила хряков не выкармливать – забота большая. Шварц не спал, он думал. Тишина была такой, что если бы куры дышали, то их дыхание он бы наверняка мог услышать даже через внутреннюю амбарную перегородку. Юлик лежал и думал, отчего так случилось, что он полюбил эту женщину, которую даже не успел как следует узнать. Которая родилась и прожила свои годы чёрт знает где, в чужих местах, там, где не пахнет поросёнком, где не говорят по-русски и не едят ничего, не сняв мундир. Где не стесняются говорить о деньгах, не боятся анонимки от соседа и не заставляют учить наизусть клятву пионера, напечатанную на тетрадной обложке. А может, и правда уехать отсюда насовсем, подумалось ему ни с того ни с сего... К чёртовой матери. Жениться на Тришке и дёрнуть с ней в Англию. А потом и Гвидон подтянется. С Приской. И жить себе там... Писать, выставяться, рожать детей английской королеве... А этих послать. Куда подальше. Нет, это невозможно, достанут и там. Достанут и прикончат, эти могут, они такие. Пусть лучше здесь достают, здесь всё же понятнее. И мать застрелится, если что, эта уж точно такой измены не переживёт. И Гвидон не приедет, Таисию Леонтьевну не оставит, это точно. Бред какой-то...

За день до Тришкиного приезда они все вместе решали, как правильно поступить: он, Гвидон и Приска. Решили пока ничего о существе дела Трише не сообщать, пусть всё идёт как идёт. В конце концов, пускай у неё будет свой, независимый выбор, и если в её жизнь войдёт Юлик, если так обернётся, что они на самом деле станут нужны друг другу, то тогда и посмотрим, вводить сестру в курс дела или не обязательно.

Он осторожно повернулся на бок и посмотрел на Триш. Тонкий лучик света от жижинской луны, пробиваясь через кривую щель над дверной притолокой, упирался размытым кончиком прямо в Тришкин лоб, чуть-чуть сползая на висок. Внезапно Юлик ощутил, что ничего дороже этой наивной чужеземной девчонки у него не было и нет. Он привстал на локте и вгляделся в её лицо. И тут его прострелило. Разом. Он понял вдруг, что такое любовь. Жил, жил и не знал. Понятия не имел. Знал только, что это история совсем не про то, что происходит в кровати между женщиной и мужчиной. Это – другое. Он вдруг вспомнил, как это началось. И когда. Тогда, когда они ели сегодня жареные грибы бабкиными ложками. Триш доела, облизала ложку, зажмурившись от удовольствия, и положила её на стол. И он вспомнил, как мысленно захотел эту ложку схватить и сунуть в рот, чтобы ощутить в себе запах любимой женщины. И слиться с ним. Изнутри... не понимая, что происходит, не отдавая себе отчёта в этом странном своём порыве. А дошло до него лишь теперь, спустя несколько часов, когда смотрел на освещённое лунной полоской лицо Триш Харпер: на завиток у её виска, на тонкую голень откинутой голый ноги с трогательно изогнутым, как натянутый лук, средним пальцем, на смешно торчащую соломинку, надёжно застрявшую в тёмно-русых волосах, на длинные пальцы под прозрачно-бледной кожей с коротко подстриженными ноготками, на два сердоликовых шарика в круглых мочках её ушей, обрамлённых по кругу полоской тусклого серебра, на едва заметную родинку на обнажённом левом плече, – вот она где, любовь, это так просто, оказывается, хотя и другое. Нужно просто очень хотеть облизать ложку после любимого человека.

И это незнакомое другое, зачатое и отыскивавшееся где-то глубоко внутри его, в самых кишках, сейчас медленно выплывало наружу, таща за собой новую, не пробованную ещё жизнь,

смывая по пути все его прежние жизни с картинными страстями, картонными чувствами, фальшивыми словами и обманными любовями...

Утром отправились в ничейный яблоневый сад, навали мешок вольных яблок, и мужики по очереди тащили этот мешок обратно. А окончательно нашедший своё счастье Ирод, нахватавший репейников, нёсся впереди, рассекая крепкой собачьей грудью высокую траву некошениого сада. Он метался влево и вправо, как бы расчищая своим новым хозяевам путь, отбегая в стороны и тут же возвращаясь обратно, демонстрируя готовность к преданной службе и верную покорность одновременно.

А потом они давили сок, как и в прошлый раз, но теперь уже вчетвером. И пили его, пили, проливая себе на грудь: свежайший, пахучий, шибяющий в нос тысячью колючих, остро-сладких кислинкок. И Триш смеялась, залиvisto и громко, а он шептал ей в ухо:

– Я так люблю твой смех... и твой запах... Знаешь, я когда-нибудь соберу их в маленький флакончик и, когда тебя не будет рядом, буду брызгать из него себе в лицо...

А ночью, при свете луны, Юлик снова любил свою девушку, свою Триш, дочь шпиона и убийцы Джона Ли Харпера и главы знаменитого «Harper Foundation» Норы Харпер, внучку придворного советника королевы Великобритании, сэра Мэттью, о которых ничего не знал и которые ничего для него не значили, кроме того, что за всех за них он, Юлий Шварц, непременно рано или поздно должен пострадать. Он любил свою будущую невесту и жену так, как никогда не любил никого, задыхаясь от неуёмного желания, не веря, что это происходит с ним. С ними... В эту ночь он задумал серию ставших впоследствии широко известными «белых работ».

А последним жижинским утром, когда они проснулись, он спросил:

– Ты выйдешь за меня?

– Конечно, – ответила Триш, блаженно потягиваясь, – только три условия.

– Это какие? – насторожился Шварц.

– Ирод останется с нами. Мне нужно пианино. И ты купишь юнитаз для грэнни Параша, – серьезно ответила Триш.

Через два дня после возвращения в Москву Приска улетела в Лондон. Триш оставалось до отъезда ещё двенадцать дней. Гвидон переселил их к маме на Кривоарбатский, сам же на это время переехал к Юлику в мастерскую, доживать дни до отлёта. А вечером Шварц поднял трубку, набрал номер Евгения Сергеевича и доложил по-военному:

– Патриция Харпер улетает через двенадцать дней. Готов регистрировать брак. Жду инструкций.

И поехал добывать настройщика, чтобы в оставшиеся до самолёта дни Триш могла играть на «Бехштейне» Иконниковых своего любимого Шопена. Вернее, теперь «Бехштейн» принадлежал уже не им, а Патриции Харпер, получившей его в качестве свадебного подарка от расчувствовавшейся таким оборотом событий Таисии Леонтьевны.

Дальше было необыкновенно просто. Нужный механизм был взведён в тот же момент, часы оттикали пару-тройку дней, после чего Юлию Ефимовичу Шварцу позвонили и сообщили время регистрации в ЗАГСе Ленинского района. Со стороны жениха в качестве свидетеля выступил Гвидон Матвеевич Иконников. Не вестину сторону не представлял никто. При вступлении в законный брак жене была присвоена двойная фамилия – Харпер-Шварц.

В тот же день, получив на руки свидетельство о регистрации брака, Юлик отправился оформлять нотариальную копию, чтобы Трише теперь было чего предъявлять за границей при оформлении будущих виз. То же самое в прошлый раз сделал для Приски Гвидон.

Триш улетала в понедельник. А за три дня до отъезда, в пятницу, Евгений Сергеевич позвонил сам. Сказал, пускай, мол, ваша супруга летит себе, а мы давайте-ка встретимся с вами в следующий четверг, в одиннадцать, и очень подробненько поговорим о жизни... Подъ-

езжайте по адресу... Далее он назвал подъезд, этаж и квартиру известного Дома на известной набережной, куда Холстомеру следовало прибыть без опозданий.

Если бы художник Юлий Шварц, он же агент-осведомитель Холстомер, знал, что в мае сорок пятого, на следующий день после Победы и три последующих страшных дня в указанной ему квартире отсиживался его тесть, английский шпион, перебежчик и убийца, а ныне з/к колонии строгого режима гражданин Великобритании Джон Ли Харпер, он чрезвычайно был бы таким обстоятельством удивлён. Равно как был бы удивлён и сам сотрудник карательных органов, человек неизвестной Шварцу должности и звания, с обычным, довольно приятным на слух именем Евгений Сергеевич.

Ещё больше удивился бы и не поверил сотрудник в то, что в назначенный им четверг он не встретит своего подопечного на пороге конспиративной квартиры на набережной, а будет сидеть перед старшим следователем КГБ с кровавыми подтёками на избитой морде, давая нужные следствию показания на своих руководителей и на самого себя.

А ещё через день, в ночь с пятницы на субботу, он умрёт в камере-одиночке тюрьмы КГБ на Лубянке от кровотечения внутренних органов, открывшегося у него на второй день побоев. Умрёт, так и не узнав, по какой конкретно из множества возможных причин ему довелось стать жертвой репрессий, обрушившихся на бывших работников МГБ и МВД, слившихся в единое целое, которое продолжало находиться под заботливым опекуном Лаврентия Берии, позже арестованного, но сумевшего попутно утащить с собой в могилу не одну тысячу сотрудников преступного ведомства.

Дела, курируемые Евгением Сергеевичем, сразу после его ареста были собраны в кучу, перехвачены бумажной бечёвкой и снесены в лубянский архив.

Накануне, до того как идти на встречу, Юлик и Гвидон поговорили. Дело было на Октябрьской. Решительный Гвидон предложил сразу уйти в отказ, чтобы разрубить вопрос раз и навсегда, а заодно выровнять шансы. «Скажешь, как я: мол, чёрт попутал, Евгений Сергееч, извините-простите-не-могу-не-буду. А там – смотря уж что он ответит, по обстоятельствам. Ну, не стрелять же нас будут, в конце концов. Мы ж воевали, награды имеем. А с мастерскими всё равно швах теперь, по-любому не видать как своих ушей. Да и хер с ним, в Жижу уедем и построимся».

Шварц осторожничал, опасаясь столь резкого перехода в примитивный оппортунизм по отношению к чёртовой власти. Почесал в ухе и раздумчиво произнёс, то ли в шутку, то ли всерьёз:

– Слушай, а может, и на самом деле отвалить к Тришке, а хер им уже оттуда показать? А? Или... вместе рванём? Заодно?

Оба знали, что это просто очередной Юликов трёп. Но Гвидон всё же хмыкнул, поддерживая тему:

– Неплохо б, конечно... Знаешь, я как-то думал про это... Так... во сне, можно сказать.

– И чего показывали? – заинтересованно напрягся Юлик.

– А кино показали. Рассказать? – Шварц развел руками: само собой, мол. – Ну так вот. Приехали мы с тобой туда, прилетели, а дальше едем на машине, на красивой, на блестящей такой, с круглой блестяшкой на капоте. В машине, кроме нас, Тришка и Прис. Довольные все, хоть и трезвые. Е-е-едем, е-е-едем, е-е-едем... Вокруг дома красивые, лужайки... под английский газон, народ весь такой ухоженный, благочинный, ручками нам машет. И снова едем, едем, едем бесконечно. Ищем чего-то, чего – не понимаем, но знаем, что очень надо. Всем причём. Вдруг Приска как заорёт: «Стоп! Стой, Гвидон!!» – и рукой указывает вперёд. Смотрю, Ирод бежит навстречу и вроде как не внутрь к нам просится, а чтобы мы за ним ехали. Ну, мы поехали, а он впереди бежит, не медленней, чем мы сами. Дальше смотрим, две женщины на обочине стоят, голосуют. И Ирод вроде как остановился, ну, что бы мы их подобрали. Смотрим, это Мира Борисовна твоя. И моя заодно.

– Это что, Таисия Леонтьевна, что ли? – не скрывая явного интереса к рассказу, уточнил Юлик.

– Ну да, я ж сказал, моя! И они сели к нам, и все спокойно уместились. Обе весёлые, обе сразу с девками нашими журчать чего-то стали. Моя мать – по-английски почему-то, а твоя – по-немецки.

Шварц пожал плечами:

– Ну это ясное дело.

– Короче! – продолжил Гвидон. – Девки – на чисто русском. И все смеются без перерыва. А мы вроде ни при чём с тобой. Как будто нас вообще нет. А дорога всё хуже и хуже. Ухабы пошли разные, грунтовка началась, а лужайки кончились, уже давно, как только Ирод появился, так и кончились. Он, кстати, так и бежит впереди. А потом вдруг на месте встал и головой вбок кивает. Глядим – а это кладбище наше, ну, которое перед Хендехоховкой. А он дальше побежал. Саму Хендехоховку пробежал без остановки – и снова вперёд. А Мира Борисовна твоя смеётся как ненормальная, аж закатывается. Говорит сквозь смех: «Знаете, как мы тут им вломили? Просто хендехох сплошной!» По-немецки говорит, а всё понятно. Это она про фашистов, про войну. А Триша твоя ей отвечает и тоже смеётся: «Мира Борисовна, всё наоборот, наши тут немца хлебом-солью встречали. То есть ваши, русские, а не наши». А моя мать тоже смеётся и тоже спрашивает вдруг: «А мы разве не по Англии едем, милые?» И все вдруг резко перестали смеяться и замолчали. И так тихо стало, что просто жуть какая-то на всех напала.

– И на меня? – недоверчиво спросил Шварц.

– На тебя – не знаю, ты вылез из машины и стал целовать Парашу. А она увёртывалась сначала, а потом смирилась и махнула рукой в сторону. И Ирод залаял как ненормальный. Мы смотрим туда, куда махнула, а там Жижа наша, надвое оврагом глиняным разрезанная. Как родная стоит. И сад за ней с яблоками, и церковь разрушенная, и Парашина изба. И Мира Борисовна твоя говорит: «Я хочу, чтобы вы мне, мальчики, каждый по горшку накрутили». Так и сказала: «Накрутили». И мы пошли крутить. А машина красивая куда-то пропала.

– Уехала?

– Нет, именно пропала. Растворилась, как не было.

– И чего? – не понял Шварц. – И всё?

Гвидон искренне удивился:

– А тебе что, мало? Ясно ж сказано: все дороги ведут в Рим. То есть в Жижу. В том смысле, что выше жопы не прыгнешь. Вот про это сон.

Шварц мечтательно откинулся на кресло:

– Хороший сон... Будто правда кино посмотрел. А чего ты мне раньше-то не рассказывал?

– Ну, во-первых, чтоб ты меня к психиатру не отправил. А во-вторых, время не пришло. Теперь – в самый раз, – ответил Гвидон и налил обоим.

В этот момент Шварц понял вдруг, что не сообщил Мире Борисовне о том, что женился. Та едва пережила год назад смерть Сталина и в каком-то смысле была всё ещё плоха. В том смысле, что явно не готова к постижению такой шокирующей новости. Он опрокинул в рот полстакана портвейна, поставил стакан на стол и подумал: «Узнает, что англичанка, с ума сойдёт. И не простит. Подожду пока. Может, раньше посадят».

Когда Юлий Шварц звонил в чекистскую квартиру, он уже не метался. Шёл сдаваться на милость власти. А по сути, разоблачать самого себя. Это значило, что и Гвидона. Оба они такое развитие событий допускали, но терять уже было нечего. И делить тоже. И плакаться в жилетку. Дело было сделано. Оба женились на ком хотели.

Дверь не открыли. Он опять позвонил и снова прождал минут пять, но безрезультатно. Тогда он коротко, на всякий случай, для очистки совести, тренькнул звонком в последний раз и, не дожидаясь результата, пошёл себе вниз по лестнице. Вернувшись в мастерскую, первым делом набрал известный номер. На том конце взяли трубку:

– Вас слушают.

Голос был незнакомым. Шварц замялся, но всё же сказал:

– Мне бы с Евгений Сергеевичем переговорить. Мне назначено... было...

– Вы кто? – сухо спросили на том конце.

– Э-э-э... моя фамилия Шварц. Юлий Шварц. Он просил меня... – Юлик было подумал, надо б рассказать, что никто так и не открыл назначенную дверь на седьмом этаже хитрого Дома, но быстро передумал. И закончил фразу: – Он просил как-нибудь позвонить, это насчёт мастерской для художника. Вопрос содействия, вроде того...

Голос долго не обдумывал услышанное:

– Евгений Сергеевич больше здесь не работает. И сюда не звоните. Всё, до свиданья!

Раздались короткие гудки. Шварц в задумчивости положил трубку.

– Интересно, это хорошо или очень плохо? – спросил он сам себя. И не сумел ответить.

А Гвидон, узнав про дверь и про этот разговор с неизвестным, рассудил так: если они в наших услугах не нуждаются, то и слава богу! А именно – пошли они все в жопу, и будь что будет!

До приезда девочек в середине будущего лета оставалось меньше года. Надо было как-то заработать денег, чтобы с весны начать строиться в Жиге, потому что и Триш, и Приска ехали уже не для того, чтобы стажироваться и развлекаться с русскими друзьями. Они возвращались домой, к законным мужьям, чтобы любить их и жить с ними в той стране, которая разрешила, хоть и обманом, заключить им брачный союз.

Часть 4

Своему прозвищу Ницца Наталья Гражданкина была обязана Клавдии Степановне, учительнице русского языка. Уже в первом классе детдома семилетняя Натаха, споткнувшись о явно выраженную по отношению к ней нелюбовь учительницы, проявила первую непокорность. Произошло всё на уроке чистописания. Натаха сидела, с молчаливым интересом размазывая пером кляксу на разлинованной тетрадной странице. Дело было новым, довольно занятным, не то что выводить, высунув от напряжения язык, прописные буквы, которые должны наклоняться одинаково и где нажим нужно соблюдать было ровный, похожий один на другой.

Заметив художество, Клавдия Степановна подошла, взяла за косу, натянула её, обмотав вокруг руки, и сунула Натахину физиономию носом в кляксу. Чтобы испачкать нос и заодно чтобы было больно. Так и получилось. Учительница явно рассчитывала, что Гражданкина заревёт и будет хороший урок классу на будущее. Но обсчиталась. Натаха не заревела, хотя ей в этот момент ужасно хотелось выпустить из себя мокрого. Она решила терпеть и не поддаваться. Собрав свою маленькую волю в ступнях ног, воспитанница Гражданкина сжалась в тугую пружину и, внезапно оттолкнувшись что было сил от пола обеими ногами, высоко подпрыгнула вверх, как только умела. И, не садясь за парту, с напускной весёлостью сообщила всем вокруг:

– А вот и ни капельки не больно!

Семилетки заржали в голос. Это был смелый поступок. Клавдия Степановна известна была своим твёрдым характером и по этой причине предпочитала железную дисциплину любой другой. И поэтому такой поступок маленькой зассыхи её изрядно удивил. Наташу перевели в Боровск недавно, по причине достижения воспитанницей Малоярославецкого детского приюта ученического возраста. Там, откуда её привезли, школьное образование не предполагалось. Там держали детей до шести-семи лет, затем «расфасовывали» по близлежащим заведениям типа Боровского детского дома № 1.

«Зассыхами» считались те малолетние воспитанницы, кто не приступил ещё к учебе, а продолжал пребывать в возрасте дошкольных малолеток. Однако для Клавдии Степановны в зассыхах продолжали ходить и те, кто не сумел понравиться ей с первого дня. И так вплоть до выпускного возраста. Особое, правда, расположение вызывали у неё дети погибших на войне солдат. Или тех, кто умер от голода и болезней. И наконец, просто умер, не от войны, а по любой другой причине, кроме водки. Этих ненавидела люто, словно сами они были виновниками собственного сиротства. Эти ходили в засранцах. Тоже в вечных, до самого последнего дня.

Наличествовали в её меню и другие категории, именовавшиеся «лагерники». Речь шла о детях заключённых, отбывающих разные сроки. Они, в свою очередь, подразделялись на две соседние подкатегории: «девранные», то есть «дети врагов народа», и «детуголовы», что расшифровывалось как «дети уголовников».

До того случая, с Натахой, Клавдия Степановна ещё не успела как следует ознакомиться с делами вновь поступивших воспитанников: учебный год только начинался. Но на другой день в сопроводительные документы заглянуть не поленилась. Сразу после ознакомления ученица Гражданкина обрела заслуженную категорию – сделалась лагерником и девранаром. Однако, учитывая особое непослушание и имевший место конфуз, учительница добавила к «положенным» категориям ещё и «зассыху», чтоб было справедливей. А вообще, разработанной системой она тайно гордилась. Удобно и просто, не так ли? Скажем: детуголов-засранец. О чём это говорит? Это вполне доступным образом извещает о том, что испытуемый принадлежит к сословию родителей, один из которых отбывает наказание за уголовное преступление, а другой – умер от водки. Все без затей, легко и понятно. Похожим образом и по другим категориям.

В каком-то смысле идентифицировать воспитанницу Гражданкину так, чтобы с точностью определить принадлежность к конкретной категории, для Клавдии Степановны оказалось делом непростым. Суд над матерью Гражданкиной был закрытым, военным, и сведений в колонию строгого режима, где она и скончалась при родах, просочилось немного. То ли убийца, то ли враг народа, то ли больная по здоровью. Но точно, что работала в органах. Ещё, стало быть, и изменница. И тогда не мудрствуя лукаво учительница решила откинуть сомнения и провести ученицу Гражданкину по той статье, какую лично и назначила. Так Натаха сделалась тем, кем пробыла до последнего детдомовского дня.

А тогда, на уроке чистописания, диалог с ней был продолжен, когда она снова заняла своё место за партой под неутрахающий хохот ребят. Клавдия Степановна нашла очередной повод для продолжения беседы с непокорной Гражданкиной.

– Может, ты так утомилась буквы писать, что решила кляксы порисовать? – придав лицу жалостливое выражение, поинтересовалась учительница. – Может, ты уста-а-ала? Может, тебе отдохну-у-уть пора?

– Я люблю отдыхать, – нашлась первоклассница. – А что, можно уже пойти?

И снова класс заржал. Учительница стала медленно наливать краской:

– Зачем же ходить? Тебя на маши-и-ине повезут. Чтобы сидеть мягче и чтоб ногами меньше двигать. Куда прикажешь? К морю к Чёрному не желаешь поехать отдохнуть? Или на какой курорт? – Ребята захохотали, девочки схватились за животы, однако на чьей они были стороне, учительница не понимала. Сейчас ей нужно было подавить малолетку волю и заставить уважать себя любым путём. А ещё лучше – через позор и унижение этой маленькой зассыхи. Она продолжила издевательским тоном: – Может, ваше королевское сиятельство имеет желание в Париж прокатиться? Или в Ницце какой-нибудь отдохнуть от чистописания?

Натаха встрепенулась и подскочила:

– Ага! В Ницце! Я в Ницце хочу отдохнуть! Ницца – это чего такое? Это где? Мне Ницца нравится. Можно – там?

Тут вообще все просто повалились на пол из-за парт. Клавдия Степановна, не ожидавшая подобной смелости от мелкой зассыхи, побелела, схватила тетрадь с кляксой и со всего размаха ударила ею по парте:

– Молчать! Я сказала, сели все по местам и захлопнули свои поганые рты! – Все испуганно сели на места, кроме Натахи. Она продолжала стоять за партой, которая была ей выше пояса. Учительница с силой вдавила её плечо вниз. – Сядь, Гражданкина, и тоже захлопни пасть! И не смей больше открывать её никогда, если я не разрешу! Это тебе ясно?

Натаха кивнула, но как-то уж совсем бесстрашно, Клавдии Степановне даже показалось, что с некоторым вызовом. С этого дня началась необъявленная война. Агрессору, учительнице чистописания и русского языка, противостояла жертва её военных приготовлений, зассыха и девранар Натаха Гражданкина.

Начиная с того дня к ней намертво приклеилось это чудное, как будто сложенное из нерусских букв прозвище – Ницца.

Первый раз жизнь маленькой Ницце спасла фельдшер Веселова, когда той с трудом, ценой жизни Натахиной матери удалось-таки извлечь из матки заключённой Гражданкиной почти уже задохнувшегося ребёнка женского пола. Вытащила, обрезала пуповину, обтёрла, шлепнула по попке. Ребёнок задышал и пронзительно заорал. В рубашке родилась, отметила про себя фельдшерица. Она передала ребёнка помощнице, из эчек, и прикрыла веки мёртвой Гражданкиной. А потом подумала, что хоть ребятёнок и лагерный, а жить будет долго, потому как горластый. Они такие все, кто погорластей, живей других оказываются.

В другой раз доказательство тому пришлось на лето пятьдесят четвёртого. Первым Натахин крик засёк Ирод. Внезапно он сорвался с места и, оставив грибников, унёсся вглубь леса.

– Чего это с ним? – спросил Шварц, проводив пса взглядом.

– Тебе лучше знать, – подрезая боровичок, отозвался Гвидон. – Твой же кабысдох теперь. Ваш с Тришкой.

А кабысдох по кличке Ирод уже громко лаял в полукилометре от них так, чтобы его непременно услышали. Когда они нашли его, то обнаружили перепуганную девчонку с газетным кульком, в котором болтались два сорванных подберёзовика.

– Тебя как зовут? – спросила Приска и погладила её по голове. – Ты заблудилась?

– Ницца, – ответила девчонка. – Я грибы собираю. А как назад – не знаю.

– Ницца? – удивлённо переспросил Шварц. – А ты ничего не путаешь? Другого имени у тебя нет? Обычного, человеческого.

Девочка мотнула головой:

– Нету. Я Ницца. Меня так все зовут. И я так себя зову.

– Ты что, французский язык изучаешь? – спросила Приска. – Поэтому так себя называешь?

– У нас никто ничего не изучает. У нас только русский есть. Клавдия Степанна нас учит.

– А где ваша мама, Ницца? – поинтересовалась Триш. – Или ваш папа?

– А я детдомовская. С Боровска. Я сбежала, чтоб грибов насобирать. А их нету. – Она перевернула кулёк, и два подберёзовика вывалились на траву. – Хотите, вам отдам? Только вы меня назад отведите, ладно? – И улыбнулась.

– Присул, смотри, она прям как ты улыбается, – подметил Гвидон, – и подборок похоже задирает. У тебя, случайно, дети не пропадали?

Короче говоря, за подарочные те подберёзовики Гвидон и совершил тогда путешествие до детдома и обратно.

– А не заругают тебя, Ницца, – задал он ей вопрос на прощанье, – воспитатели твои?

Та снова отрицательно мотнула головой:

– Не-а, просто Клавдия Степанна скажет, что засыха и что лагерная. А потом сделает так... – Она обхватила рукой затылок и несколько раз как бы ткнула сама себя носом в забор, стихотворно приговаривая в такт собственным тычкам: «Соловей куку-шку долбанул в макушку, не кукуй, кукуш-ка, зажи-вёт ма-куш-ка!»

– Хорошенькие у вас порядки, – присвистнул Гвидон, покачав головой. – Это что, со всеми так обращаются?

– Она кого тыкает, кого не очень. Меня всё время тыкает, потому что я Ницца. И ещё потому, что я её не боюсь. Я вообще никого не боюсь. – На этом Ницца закончила свой короткий рассказ и засмеялась. – Ладно, я пошла. А вам спасибо, что дорогу показали. В другой раз не потеряюсь.

И исчезла за детдомовским забором. Гвидон подумал-подумал и, встав на нижнюю перекладину забора, приподнялся над его верхним краем.

– Ницца! Погоди! – крикнул он ей вслед. Девочка вопросительно оглянулась. – Ты приходи к нам. В гости. На следующий год. Мы жить тут будем летом. В Жиге. Спросишь дом бабы Параша. Прасковьи Гавриловны. Мы у неё будем. Придёшь?

Ницца неопределённо махнула рукой и побежала к кирпичному дому барачного типа.

До апреля пятьдесят пятого Гвидон и Юлик пахали как заведённые. Гвидон брался за любые заказы, не самые выгодные, включая малозначимые мемориальные доски и некрупные памятные надгробья для частных заказчиков. Деньги для того, чтобы начать осуществлять их затею – строиться в Жиге, как они прикинули, требовались немалые. Юлик пристроил часть непроданных работ, рассчитался с обиженным Фелькой и с головой ушёл в работу. Писал в основном маслом, предпочёл всему чистый реализм, так проще было продаваться. Москва всё активней и активней застраивалась, на глазах вырастали новые проспекты и дома, кирпичные, многоэтажные, по послевоенному образцу капитально сбитых толстостенных «сталин-

ских» крепышей. Новые квартиры требовали новой красоты. Именно туда чаще всего уходили пейзажи. Поэтому выбирался на пленэр, с этюдником: писал лес, речку, скошенное поле по типу обложки от «Русской речи», всякую нелюбимую хрень по типу медведей в лесу, ненавидя это вынужденное соглашательство с самим собой, однако утешая себя, что дело это временное и почти шутейное. Радовался, кстати, что этот «не самый голубой» период творчества пришёлся на отсутствие Триш. Это соображение было единственным, которое его радовало в связи с отсутствием жены. К Новому году ситуация с деньгами вроде пошла на лад, и с января, засев у себя на Октябрьской, Шварц вплотную занялся натюрмортом. В это время его мало кто отвлекал от работы. Даже Ирод и тот не совал больше нос в решётку подвального окна, постоянно проживая с прошедшего августа по новому месту прописки, в жижинской избе бабы Параши, причём на самом законном основании. Уезжая в последний раз, Шварц оставил бабке денег на прокорм и содержание пса. И все остались довольны: и Шварц, и Прасковья, и сам Ирод.

Гвидон трудился не меньше Юлика, хотя выплаты ему постоянно задерживали, а значительная часть денег уходила за аренду непрофильного помещения под мастерскую. Метры эти раздобыл с большим трудом, да ещё занимать их к тому же пришлось полуподпольно. В это время друзья виделись довольно редко, оба понимали: нельзя упустить эту пору, пока не вернулись жёны, — нужно использовать отпущенный срок так, что бы доказать, что они способны дать что одной, что другой не меньше, чем средний английский мужик. Или даже больше.

Натюрморты тоже, как и пейзажи, шли неплохо. Тут художественного компромисса было явно меньше, чем в пейзажах, но всё же Шварц порой отшвыривал кисть, чтобы налить стакан и погрызть себя изнутри. Работы, как ему казалось, напоминали фабричные открыточные заготовки: стол, скатерть, незатейливая вазочка, стеклянная или непрозрачная в орнамент, однотипные букеты — чаще сирень, на ней рука набита была «вслепую», — рядом с вазой — яблоко. Или груша. Или пара слив. Или гроздь винограда. Или, на худой конец, что-нибудь, что тайно притаскивала, стараясь не повторяться, раз в десять дней из своего буфета Алевтина. Там у них вечно какое-нибудь буфетное украшательство за стеклом присутствовало в виде искусственных овощей-фруктов, чтобы таким художественным приёмом довести воображение клиента до ассоциаций со «сталинской» кулинарной книгой. А Алевтину, как выяснилось, никто не отменял, как и румынское пиво. Пожертвовать пришлось Раисой, несмотря на главенствующее место в гостинично-буфетной иерархии. Той он сразу сказал, избавив себя от ненужной больше неопределённости. Сказал, нашёл единственную и чтобы простила, если сможет. И чтоб больше не приезжала во избежание семейного скандала. Раиса тихо выпустила слезу у него на глазах, но попросила последнего раза. Такого, чтобы запомнился на всю её неудавшуюся жизнь. Пришлось Шварцу отложить натюрморт и вспомнить лучшие уроки краммской балерины в отставке. Ему и самому было интересно, как искренне любящему мужу единственной любимой женщины, на что он может быть способен в этих новых, непривычных пока ещё условиях мужского выживания.

Самым интересным в эксперименте оказалось не то, что Раису в этот прощальный раз он довёл до коматозного состояния, включая приступ животной страсти, слезу и сопутствующую истерику, а то, что ему это понравилось, весьма и весьма. Это было лучше, нежели все предыдущие случаи со старшей по буфету, вместе взятые.

На прощанье пришлось что-то подарить. Шиканул и подарил свежий натюрморт, из тех, что досыхали. Раиса приняла, осмотрела, сунула под мышку и, не прощаясь, покинула помещение, чтобы уже никогда не возвращаться. То, что было изображено рядом с вазой с сиренью, она бы никогда не спутала ни с чем другим. У этой неестественно-розового цвета виноградной грозди, что она увидела на подаренной картине, была надломлена ветка, она торчала ровно под прямым углом к оставшейся видимой части. Эту ветку она сломала лично, когда изначально пыталась пристроить гроздь на вбитый в буфетную стену гвоздь с шляпкой. Подобная похоть никак не могла быть достигнута случайно, и прозорливая Раиса в момент это усекла.

Как следствие подарка маслом, Алевтина лишилась доходного места на следующий день. Как и места в Юликовой постели один раз в две недели. Причина повлияла на следствие. Шварц лишился бутафорских фруктов и румынского пива, но зато сохранил бодрость духа, потому что теперь он был женат и не имел намерений злоупотреблять своим бурным прошлым.

Однако после случая с Раисой Юлик задумался. Ему не понравилось то, что ему понравилось. Поначалу он думал, что неожиданно полученное им удовольствие никак не может идти в зачёт, поскольку носило прощальный характер, подводило итог определённому этапу затянувшегося знакомства и плюс к тому опиралось на памятные приёмы военного прошлого. Всё это могло быть вполне приписано к варианту сентиментально-романтической драмы, а это не может не быть прощено по-любому. Правда, озадачило другое, случившееся через неделю после исчезновения из его жизни обеих буфетчиц. Позвонила оттопырка, та самая, «возрожденческая», которых обожал Веласкес и которую год назад так и не получилось затащить к себе на Октябрьскую с Гвидоновой выставки. Как выяснилось, оттопырка имела невероятно красивое имя – Любовь. А в Москву приехала на неделю, в каникулярный студенческий промежуток между семестрами учебы в Рязанском педагогическом училище. Сказала, в будущем видит себя воспитательницей детского сада, после чего за сорок минут с небольшим добралась до Крымского Вала. Там Шварц её и встретил, и уже оттуда оба бодрым шагом дотопали по московскому морозу до его полуподвала, захватив по пути два сухого, портвейн, колбасный сыр и зелёный горошек. Очень хотелось, чтобы такой шикарный стол оказался с последствиями. Правда, на всякий пожарный в подвале в неприкосновенности всегда хранилась бутылка водки.

– Юлий, а вы женатый? – робко поинтересовалась будущая воспитательница, закинув ногу на ногу.

– Нет, – честно соврал Шварц, не желая усугублять посторонними темами такое романтическое начало. Одновременно подумал: «Не задавай вопросов – не буду врать...» И тут же перебил неправильное настроение гостьи своим вопросом: – Может, по глотку водочки? Свежая, «Столичная».

– Нет, – решительно мотнула головой Любовь, – водка, она крепкая.

– Так и что? – неподдельно удивился художник. – Затем её и пьют, что крепкая и забористая. В этом суть. И цель напитка. А ты против такой концепции?

– Нет, я не против. – Она совсем не удивилась ни вопросу, ни предложению. – Просто крепкое я водой запивать должна, с газом. А у нас минералки нет.

– А обычной если? Ну, допустим, кипячёной, если ты микроорганизмами брезгуешь.

– Нет. – Она отрицательно покачала головой и на полном серьёзе растолковала суть отказа: – В обычной рыбы совокупаются, её пить нехорошо, сами понимаете. – Шварц от удивления повёл головой влево. С таким витиеватым поведенческим алгоритмом ему ещё не приходилось сталкиваться у себя в полуподвале. Он даже сразу не сообразил, как реагировать на такую обезоруживающую правду водной жизни. Но оттопырка выручила сама – продолжила разговор, зарядившись его разъяснением насчёт отсутствия жены. – Это приятно, – сказала и подлила обоим сухаря. Они выпили и легонько поцеловались. Чисто по-дружески, но в губы. – А вы курите? – спросила она, заодно, так... для поддержания очередного светского разговора и получения встречного вопроса на ту же тему. Однако ни ответа, ни встречного вопроса не дождалась, а потому тут же саморазоблачилась: – А я вот не курю. И никогда не курила. Считаю такое занятие неуместным и непедagogичным. И на детородную функцию отрицательно влияет, если с медицины посмотреть. – И слегка икнула.

Шварц не успел ответить, потому что в эту минуту напряжённо размышлял, выдержит ли нестойкая тахта его сегодняшней напор, к которому он уже приготовился самым нешуточным образом. А ещё успел сделать такой предварительный вывод: курить она, может, и не курит, но зато всё остальное делает, зуб готов дать.

– А вот ещё хотела у вас спросить, Юлий. – Она чуть смутилась, но уже как-то нетрезво. – Планы у вас есть? Ну-у-у... в общем, завести семью, стать женатым человеком, детей заиметь и вообще...

– Есть такие планы, – снова немного, но искренне недоврал Шварц, – очень даже есть.

Он и на самом деле не раз за последние месяцы представлял себе, как Триш когда-нибудь родит ему сына. Нет, лучше дочку, потому что... Ну, в общем, дочку лучше. Дочка для мужчины правильней. И как он с трепетом осторожно погладит любимый живот, надувшийся будущей наследницей, и прислушается к таинственным звукам, издаваемым изнутри маленьким существом. И даже почему-то мама приснилась, Мира Борисовна, которая благодарно гладит его по го лове, как бы одаривая милостью за появление на свет внучки, одновременно улыбаясь, прихлёбывая из трёх литровой банки разливное пиво и приговаривая с загадочным выражением лица: «Наша... наша будет...»

Оттопырка скинула ногу, одну с другой, и придвинулась ближе. Робко спросила:

– А я вам правда нравлюсь, Юлий? Или вас просто моя фигура так привлекла? Она многих интересуется, я в курсе. Рост такой... линия сама... и прочее... Но только я подумала, вы художник... Вы прекрасное хотите в человеке понять, а не только что у него в виде самой персоны имеется. Ну... вы понимаете, что я затрагиваю... Мне надо знать, что именно во мне вам по нравилось? Какая изюминка?

Шварц нежно привлёк Любовь к себе, улыбнулся и обнял:

– Да ты сплошь из изюминок состоишь, милая. Ты вся практически кекс. А если серьёзно, ты самое прекрасное, что может вылепить Создатель, – прошептал он ей на ухо, ничуть не лукавя, поскольку обращался в этот момент не к ней, а непосредственно к её оттопырке. – Спасибо, что ты меня нашла... – Но обратился и к ней, поэтому слегка позволил себе и полукавить для пушей волнительности ситуации: – Знаешь, чего я сейчас хочу больше всего? – И тут же, не дав ей ответить, прошептал: – Измерить твой рост своими губами... Твоя душа – загадка... а тело – сплошной ребус... – Они опустились на разваленную тахту, тут же, перед натюрмортом из открытого зелёного горошка, колбасного сыра и бутылок зелёного стекла, и он нежно положил ей руку на грудь. – Вот это я и затрагиваю в тебе сейчас... Видишь? – Он ласково покрутил пальцем вокруг её воображаемого соска, как бы лаская его заочно. И почувствовал, как она вздрогнула. Всей персоной. Целиком. – Это и есть самое прекрасное. Если не брать в расчёт душевное начало. Да?

– Да... – прошептала оттопырка, уже плохо схватывая суть лстивых Юликовых комплиментов. Ей уже было не до слов. Наверное, подумал Юлик, потому что она не курила и сохранила в нетронутости ббольшую часть основных инстинктов. А ещё подумал, мысленно хмыкнув, что всё же он неплохой, наверное, человек, поскольку не путает заурядное распутство с художническим разнообразием. И подвёл промежуточный итог своих блицразмышлений. Разумеется, про себя: «Напилась – води себя доступно, солнышко...»

После этого они поцеловались уже по-настоящему, и Шварц, перед тем как начать расстёгивать оттопыркины пуговички, сообразил вдруг, что такой натюрморт, с горошком на этикетке, хорошо не продашь. По крайней мере, сейчас. Может, ближе к лету, когда начнётся уличная торговля, и народ подвалит разновсякий, и среди прочих найдётся ценитель грубой и натуралистичной манеры письма...

Несмотря на внешнюю сдержанность и благочинные заходы насчёт нравственности, в любовных делах оттопырка оказалась особой чрезвычайно искушённой, как он и предполагал. Наверное, – ещё дополнительно прикинул Шварц, когда утром ставил чайник и прикидывал, как бы поскорее выпроводить эту самую педагогическую Любовь, – просто нереально для женщин, имеющих подобное устройство организма, не отличаться от всех прочих повышенным чувственным градусом. Самая оттопырка не позволит. Те самые ягодичные мышцы, эти крепенькие рельефные полужопки, из-за которых порой рушатся планы, надламываются судьбы,

совершаются предательства и творятся преступления, в корне меняя и круша жизнь хорошим и честным мужчинам.

Студентку удалось выпроводить к обеду под предлогом срочного отъезда на пленэр. Сказал, с голой женщиной спорить, конечно, трудно, но не ехать не могу, люди, мол, ждут, ученики. И вообще, пора приводить в порядок планету.

Та покидала подвал явно расстроенная, что художник не перешёл к разговору о совместной жизни и не предложил ей ключ от подвала. Но перед тем, как закрыть за собой дверь мастерской, всё же намекнула, не скрывая грусти, но и не отпуская от себя надежду:

– А вообще, ты нормальный, это хорошо. Мудак у меня уже был. Я ему врала-врала, а потом обманула – вконец меня заколебал. И ещё, знаешь, чего скажу? Лучше мужчины может быть только другой мужчина. Вот!

Получилось смешно, но Юлик не был уверен, что сказано это было в шутку. Слишком остроумно для оттопырки. Скорей, просто совпало. И, не желая нагнетать прощальный градус, решил частично снять напряжение, театрально продекламировав в ответ недавно сочинённую им шутку:

– Знаешь, мы всё же не можем с тобой встречаться.

– Как это? Почему? – Оттопырка замерла в дверях с неподдельным ужасом в глазах.

И тогда хозяин полуподвального помещения весело засмеялся, давая понять, что сейчас будет сюрприз. И выдавил через смех:

– Мы ведь с тобой такие разные. Я мужчина, а ты женщина.

Она ушла, не зная, как ей следует реагировать на эту шутку. Юлик же между делом отметил про себя, что сегодня ночью он отлично не выспался. И ещё успокоил себя тем, что партнёры меняются, а любовь всё равно остаётся вечной. На том и договорился с самим собой. Потом задумался. Тем для раздумий было две. Первая: как должен строить интимную жизнь мужчина в отсутствие любимой женщины. Решил, что позволительно забежать в пельменную, по случаю, но всё равно отдавать предпочтение домашней кухне: лучше не приготовит никто, как ни старайся. И второе. Что, скажите на милость, прикажете делать с Гвидоном, про которого знал точно – в случае если чувство у того настоящее, измена его не коснётся. Ни по какому. Так делиться с ним свежей новеллой или не делиться? Или поделиться, но напомнить, что даже если влюбился в ямочку на щеке, то это совсем не означает, что следует жениться на всей женщине целиком. И добить постулатом насчёт того, что раскаться, к примеру, никогда не поздно, а вот согрешить можно и не успеть.

Но отчего-то не возникало больше желания помусолить с лучшим другом эту привычную для обоих тему: кто, кого, когда, сколько раз и каким способом. И как ни странно, понимал, что уже не сможет предугадать реакцию Гвидона на свои повествования. Так что решил по второму вопросу пока помалкивать, не делиться, просто не затрагивать тему, как несуществующую.

Потом не раз и не два Юлик задавал себе один и тот же вопрос, всякий раз отгоняя прочь возникающее в кишках неудобство: предательство или не предательство? И каждый раз сам себе отвечал утвердительно. Правда, в зависимости от настроения именно так он отвечал то на первую часть вопроса, то на вторую.

Так или иначе, к апрелю какие-никакие деньги собрались: получилось довольно внушительно на кармане у Юлика и послабей – у Гвидона. В общей сумме достаточно, чтобы, не думая об обстановке, начать главное – возведение дома под крышу с одновременным переустройством бабкиной части. Решили стартовать от погоды, когда нормально просохнет и не будут ожидать дожди, чтобы не залило ямы под фундамент. Глина же под ногами, не уйдёт вода, будет стоять до второго пришествия.

Начали с закупки материала. Договорились с транспортом, выбрали бригаду мужиков: плотники, каменщики – все, кто нужен. Гвидон, подумав, спросил:

– А ты что, просто хочешь купить унитаз и приладить его вместо дырки? Отбить дно и воткнуть? Думаешь, девок устроит?

Юлик почесал затылок:

– Чёрт, а правда, как решать-то будем? Одно дело – мы сами, а другое – Приска с Тришкой. Они же нас не поймут, они же внучки советника её величества. У них дедушка – рыцарь Англии. И сэр.

Гвидон взял паузу, после чего решительно произнёс:

– Нужен водопровод. Слив уже имеем. – Он кивнул на овраг.

– Слушай, мы же не в Риме и не до нашей эры. Мы в Жиге. Забыл? – удивился Юлик. – Тут ближайшая колонка – на краю Боровска. Это ж сколько оттуда тянуть!

– И протянем! – не отступался Гвидон. – А то девки нас пошлют куда подальше и в Лондон свой вернутся. Нам это надо?

– А ты что предлагаешь, я никак не врублюсь?! – искренне не понял Шварц.

– Ордена свои почисти. И медальки, – серьёзно ответил Гвидон. – И я тоже. К власти пойдём. Пусть вмешается. В прошлый раз не получилось – может, в этот получится.

– А на что брать будем? – с сомнением в голосе спросил Юлик и хмыкнул. – Одним шпионством тут не отделаешься.

– Ну как на что? – удивился друг. – Пообещаю им, к примеру, стелу поставить на въезде в Боровск, пусть профинансируют работу и материалы, а проект за мной. А ты... Ты председателю исполкома портрет напишешь. Масло, холст, девяносто на шестьдесят. Как тебе идея?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.